

Евгений Попов

Песня первой любви

Проза
одновременно
прекрасная
и безобразная,
ясная
и туманная,
трезвая
и пьяная,
как русский
человек



АСТ

Евгений Попов

Песня первой любви

«АСТ»

2008

Попов Е. А.

Песня первой любви / Е. А. Попов — «АСТ», 2008

ISBN 978-5-17-054535-3

В книгу «Песня первой любви» вошли лучшие рассказы Евгения Попова. Какие-то из них давно любимы читателями, какие-то публикуются впервые – все дополнены оригинальными авторскими комментариями, где Евгений Попов расшифровывает «некоторые фразы, нуждающиеся в пояснении в начале XXI века, и слова сибирского русского», на котором изъясняются его персонажи.

ISBN 978-5-17-054535-3

© Попов Е. А., 2008

© АСТ, 2008

Содержание

| | |
|--|----|
| Солнце всходит и заходит | 5 |
| Электронный баян | 6 |
| Жестокость | 6 |
| Электронный баян | 8 |
| Триста шестьдесят пять белых рубах | 12 |
| Жених и невеста | 14 |
| Телевизор | 16 |
| Когда настало пробуждение | 18 |
| «Песня первой любви» | 20 |
| Сани и лошади | 22 |
| Стиляга жуков | 24 |
| Котелок походный прохудился | 26 |
| Дома пусто | 29 |
| Ворюга | 33 |
| Горы | 36 |
| Пение медных | 42 |
| Дебют! Дебют! | 44 |
| Про Кота Котовича | 48 |
| Иван да Майра | 51 |
| Там в океан течет Печора... | 55 |
| Отчего деньги не водятся | 59 |
| Обстоятельства смерти Андрея Степановича | 65 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 66 |

Евгений Попов

Песня первой любви

Солнце всходит и заходит

Обращение к читателям

Очень надеюсь, что, прочитав эту книгу рассказов, написанных в основном более тридцати лет назад, вы одобрите их и согласитесь с моей нехитрой мыслью. Она заключается в том, что, конечно же, новая жизнь окончательно вошла в наши крутые берега, всё у нас теперь вроде бы по-другому, включая цены на бензин, размеры нашей страны и степень раскрепощенности ее граждан. Однако «связь времен» все же не распалась окончательно и бесповоротно, как у принца Гамлета. Так называемые простые люди не усложнились от того, что завели себе компьютеры, корейские машины узбекской сборки, съездили в Анталию. Или, наоборот, обнищали до состояния бомжей и частичной потери жизненных ориентиров. Люди по-прежнему остаются людьми: праведники праведниками, дураки дураками, мерзавцы мерзавцами, честняги честнягами. Любовь и кровь по-прежнему самая актуальная рифма. Родильные дома, кладбища, больницы и тюрьмы функционируют бесперебойно. Солнце по-прежнему всходит и заходит. Волга все еще впадает в Каспийское море.

Вот почему я без ложной скромности полагаю, что предлагаемые вам тексты не потерялись во времени и пространстве, не протухли, как скоропортящиеся продукты в старом холодильнике, не устарели, как вчерашние новости, не скукожились, как зимние сугробы в марте.

Тем не менее отдельные фразы моих ранних сочинений нуждаются сейчас, на мой взгляд, в некоторых дополнениях, уточнениях и объяснениях. Конкретные детали прежнего бытия могут вызвать недоумение у представителей нового поколения любителей литературы, которым не довелось жить при социализме и ходить на демонстрации трудящихся с портретами членов Политбюро. Кроме того, определенные слова «сибирского русского», на котором зачастую изъясняются мои персонажи, могут быть не поняты людьми, живущими в европейской части страны, а то и за ее границей. Из уважения ко всем моим читателям, искренне желая вам непременно «во всем дойти до самой сути», как велел поэт Борис Пастернак, мною и составлены комментарии, которые вы найдете в конце каждого рассказа.

Приятного чтения. И храни вас всех Господь, дорогие земляки.

Ваш Евгений Попов
Москва, 2008 год

Электронный баян

Жестокость

Рылись в бумагах, опрашивали рабочих, поднимали наряды за прошлые годы, уехали хмурые, парниковых огурцов «на дорожку» не взяли. Груня Котова тормозила мужа:

– Ты чего? Чего? Ты бы хоть в город позвонил кому...

А директор как сел в «газик», так и пустились во все тяжкие. Вместе с тишайшим и вернейшим главбухом Коленькой Николаевым.

Пили на салотопке, пили у рыбаков, в слободе пили. Допились до того, что шофер Степан вышел из машины, бросил ключи под ноги в пыль и ушел, даже спиной не сказав ни единого слова.

– Чует... крыса бегущая! – Директор проводил его тяжелым взглядом.

– Зато я, я – все равно, я всегда с вами, до самого конца, – лепетал Коленька.

Дальше стало уж совсем невмоготу: денежки все прекратились, домой ехать – тошно, и само собой созрело: на выселки, к Ваньке Клещу.

А у Ваньки Клеща дом стоял высокий да красивый. Свежий тес белел; бегал, свистя кольцом по проволоке, пес.

Дым плыл, и все что-то в доме скрипело, ухало, ныло, посвистывало.

На стук да лай и сам хозяин вышел – плешив, могуч, бородат.

И домочадцы высыпали – баба Ванькина, белоголовые деточки, старуха.

– А что, Ваня, здравствуй, Ваня, – присунулся было бухгалтер. – Как живешь, Ваня? Как, Ваня, твоя химия процветает – не взорвалась еще твоя химия?

Но Клещ, на него внимания не обращая, отнесся непосредственно к директору:

– Приполз, Котов, приполз-таки?

Директор отвернулся. Он и не выходил из машины.

– Приполз, приполз, – не унимался Ванька. – Я знал, что приползешь!

– Да что уж там? Кто старое, как говорится, помянет, тому, как говорится, глаз вон, – снова зачастил бухгалтер. – А давайте-ка мы, милые друзья, самогончику твою маленько попользуем, Ваня. На машиночке отъедем к лесу до родничка, ножки в его все положим да и отдохнем маленько.

Так и сделали. А лишь хватили по одной, Ванька завел прежние речи.

– Во, Котов! Крыл! Крыл ты меня на собраниях, тараканил, в сорок восьмом за куль картохи усадил, а нынче и сам получаешься – полный тюремщик!

– Я б тебя и сейчас посадил, – вскинулся директор. – Люди голодовали, а ты добро на дерьмо переводил.

– Вот! Эт-то точно. А только чем ты-то щас от меня отличаешься? Тюремщик. Будущий полный тюремщик! И будут твои Светка с Валеркой обои сиротки при живом папаше-тюремщике.

Директор закрылся ладонями. Когда все это началось? С чего? Как полезли в руки эти нечистые проклятые деньги – уж и не помнил директор. А только и Груня последнее время поговаривала, что хватит, однако, что пора и чур знать, не ровен час случись что – вечный конец.

– Да как же тебе не стыдно, Иван?! Ты совсем потерял чувство реальной меры! – гневно сказал бухгалтер. – А кто совхоз в люди вывел? Ты помнишь, что после войны жрали? А нынче, что ни дом – полная чаша.

– Особливо у директора, дорогого товарища Котова, – осклабился Ванька. – Вы что ж думаете – народ слепой? Народ, орлы, он все видит. Вы пакетами со склада таскали и на машине возили, вот на этой!

Ванька сплюнул.

– Ах, ведь и я уж ему тоже говорил, – вдруг неожиданно заплакал Коленька. И продолжал, всхлипывая:

– Осторожней, говорю, ведь правильно? Ведь говорил, Иван Алексеевич? Но я, я – все равно, я всегда с вами, до самого конца.

Ванька встал. Его лицо сияло. Он взял в руки четверть.

– Старые вы, старые, – радостно сказал он. – И жили по старинке и воровать – хватились, когда воровать! Щас и без воровства исключительно жить можно. Вот ты возьми меня! Это ты правда сказал, что я ране добро на дерьмо переводил. Зато щас у меня в аппарате все участвует – и стиральная машина, и холодильник «Бирюса». Весь, братцы, прогресс на меня работает! И это ж стала не самогонка, братцы, это ж стала теперь у меня натуральная слеза, Москву видать!

И Ванька приложил четверть к глазам.

Но видна была сквозь четверть далеко не Москва. Был виден лог широкий, березы, поле, серые крыши и вся родная Сибирь, в которой люди могут и должны жить долго и счастливо.

А только вдруг сползла с физиономии самогонщика улыбка. Клещ отбросил четверть и завопил:

– Иван Лексеич! Родной! Гони, родной! Помогай! Изба, изба моя горит! Ох ти-ти!

Бухгалтер опешил. Директор глядел в упор.

– Что сгорит, то не сгниет, – ухмыльнувшись, сказал он.

– Да Лексеич! Да родной! Век молиться буду! Ноженьки твои целовать! Помогай, родной! – выл Ванька Клещ.

Но директор молчал. И самогонка булькала.

*** ...в сорок восьмом за куль картохи усадил...** – 7 августа 1932 года было подписано постановление ЦИК и СНК СССР об охране госсобственности, более известное как «указ семь-восемь» или «закон о колосках». Колхозная собственность здесь приравнивалась к государственной, и виновный мог получить по этому закону «вышку» или десять лет «с конфискацией». Подробнее об этом смотрите в книге А.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Тюремщик – в Сибири так почему-то именовали и тех, кто сидел, а не только тех, кто за экарами присматривал.

Четверть – узкогорлая стеклянная бутылка размером в одну четвертую ведра, которое, в свою очередь, является русской дометрической мерой объема жидкостей, равной двенадцати литрам.

Электронный баян

– Дома-то шас будет как непременно хорошо! Катька поварешкой в борще зашурудит. А борщ тот красный, как знамя. Что ж она, лапушка, на второе-то приготовит? Если курочку... или баранинки потушила... с капустой свежей... картошечки туда, помидорчиков – замечательно! Ну, а коли просто яишню сжарила с колбасой – тоже красиво. Господи! За что мне счастье-то такое, простому человеку? Витяха в колени сунется. «Папка! Папка! Давай будем конструктор собирать, луноход на Луну пустим!» Смышленный растет, чертенок, а не избаловался бы на всем обилии. Мы-то в его годы чрезвычайно не так жили. Вечно не жрамши... или хлеба там какого с солью подшамаешь... Господи! И за что мне счастье-то такое? Одному, все одному мне, простому человеку!

Таким примерно образом размышлял направляющийся домой после напряженного рабочего дня честный человек и хороший специалист среднего звена Пальчиков Петр Матвеевич, тридцати семи лет, семейный, как видите.

А дом его, равно как и десятков других семей рабочих и служащих, расположился, глубоко вписавшись в подножие отрогов Саянских, на правом берегу реки Е., довольно далеко от центра, а стало быть, и от места работы Петра Матвеевича, откуда он добирался и трамваем и автобусом.

Вот только и было одно неудобство, что транспорт этот. А так, согласно всем требованиям нынешней планировки и градостроения, имелось у них в микрорайоне решительно все, что нужно современному человеку для жизни полнокровной, интересной, насыщенной в любом отношении.

Судите сами – помимо ванн в домах всегда парила на морозе прекрасная большая баня с прачечной и приемным пунктом химчистки, про магазины «Трикотаж», «Булочная-кондитерская», «Бакалея-гастрономия», «Рыба» и говорить смешно – тут они, под носом. Неподалеку же – колхозный аккуратный рынок с умеренными ценами, для игрищ и забав – клуб завода резинотехнических изделий, функционировал даже и пивной бар в микрорайоне, а к услугам любителей имелаась настоящая музыкальная школа. Да в таком микрорайоне тыщу лет живи – и все помирать не захочешь!

Ну, в пивной бар Петр Матвеевич заходить, естественно, не стал. Там грязно, накурено, кричат. Пьянь какая-нибудь пристанет, вымаливая двадцать копеек. И ко всему прочему – не уважал Петр Матвеевич пиво, хотя и был наслышан о его волшебных свойствах. Что, дескать, оно и того, и сего... бодрит, стимулятор. В сон его и дрему тянуло с пива, а Петр Матвеевич всегда хотел жить, а не спать. Вот он и прихватил в магазине четвертинку. Шел, прихрустывая ледком, по смеркающим улицам, где в домах уже зажигались желтые огни, и синие горы уже темнели, и небо уже сливалось с ними. Шел привычной дорожкой, но ее всю страшно разбили ногами, и грязь, несмотря на ледок, кое-где еще не схватилась.

Петр Матвеевич влез раз, влез другой, ругнулся и решил идти по территории музыкальной школы. Там сразу же от штaketника начиналась асфальтовая дорожка и у противоположного штaketника заканчивалась. Там нужно было махнуть через забор, и уж дом – вот он, тут, рядом.

Сам Петр Матвеевич вообще-то не сильно поощрял подобное шастанье по территории школы. И сыну Витяхе наказывал, и дружков его чурал. «Нехорошо, пацаны, – убеждал он их. – Ведь вы уже взрослые мужики, правда? А там затрачен труд дворника. Играйте где-нибудь в другом месте, учитесь уважать чужой труд, парни...»

Не поощрял. Но тут – уж больно не хотелось окончательно марать в грязи новые коричневые полуботинки. «И по досточкам, по кирпичикам, – шептал Петр Матвеевич, – доберетесь домой как-нибудь», – напевал он.

И хоть был целиком погружен в заботы о сохранности собственной чистоты, а также в думы о грядущем семейном счастье, но все же вдруг углядел, что окна школы светятся для такого вечернего времени довольно неестественно: все до одного и ярко. Обычно в такое время – ну, одно там, два горят, там, где на скрипочке пилят, либо на пианино бренькают, или еще – разевают рот, а через стекло-то и не слышно, что за песня из него льется.

Любопытствуя, Петр Матвеевич напялил очки и обнаружил близ двери, на белом бумажном листе следующий рукописный текст:

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЯН

ИГРАЕТ КУДЖЕПОВ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КЛАССИКИ И СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ

– Билеты продаются! – протянул Петр Матвеевич. И сплюнул в сердцах: – Это ж надо такую чуму придумать – электронный баян! Совсем с ума съехали!

Осудил, но с места дальше не трогался.

Потому что много он в своей жизни видел баянов и гармоник знал чрезвычайное количество, но вот чтобы это был баян электронный, то уж этого он себе представить не мог при всем старании. А руганью лишь распалял любопытство. Потому и решил все-таки сходить, чтобы на случай чего иметь и на этот предмет свое мнение. Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Кроме того, и семье потом можно будет описать это интересное явление, и на работе потолковать о его практической пользе либо вреде. Так что решил все-таки сходить Петр Матвеевич и, расходами не стеснясь, приготовил бумажный рубль.

Однако, войдя в фойе, он увидел, что, во-первых, билеты никакие не продаются, да и кассы-то никакой нету. А во-вторых, из-за белой двери доносились уже звуки какой-то организованной человеческой речи.

Петр Матвеевич сунул шапку в карман, осторожно приоткрыл дверь и оказался на последнем ряду маленького зальчика.

На него глянули рассеянно. Билета никто не спросил, только шепнули «тише», когда он скрипнул стулом. Все слушали человека, стоящего на эстраде.

– Таким образом, дорогие друзья, электронный баян – это очень интересное нововведение в музыке. И мы все надеемся, что наша промышленность вскоре начнет серийный выпуск этих замечательных инструментов, которые мы пока покупаем за границей и, к сожалению, за валюту, товарищи. – Говоривший тряхнул гривой. – Так что не за горами, товарищи, тот день, когда громадное число наших слушателей, любителей музыки, насладится глубокими звуками этого инструмента, который, как я уже говорил, богатством тонов близок в органу и клавишину, совмещая все это с компактностью и даже ординарностью исполнительского мастерства.

Это, по-видимому, и был сам Куджепов. Издали Петр Матвеевич не мог подробно разглядеть его лица. Так, видно было, что человек, видать, уже не первой молодости, с залысинами, несмотря на гриву, в черном костюме, аккуратненький – ну это уж как у них полагается.

Да и баян был как баян. И ничего электронного в нем почти не наблюдалось. Разве что шнур уползал за кулисы? А так – баян да и баян.

– Надуваловка элементарная, – буркнул Петр Матвеевич. – Это ж надо такую чуму придумать!

А пока бурчал, то все и прослушал. Потому что Куджепов еще что-то сказал и тут же проворно развел мехи.

И вдруг – хватило! Схватило, закружило, понесло, к сердцу подступило, заполонило, ознобило, согрело – сладкая истома, головокружение. Мелодия, и сладкая боль, и молодость, и старость – все вместе!

– Это что такое? – прошептал Петр Матвеевич. – Эт-то что же такое?

– А это нужно знать, молодой человек, – с достоинством ответила ему соседка, сухонькая старушка в очках, подмотанных ниточкой.

– Я не про то. Со мной что такое? – шептал Петр Матвеевич.

– Не мешайте слушать! – рассердилась старушка.

– Я ничего, – смешался Петр Матвеевич.

И вдруг слезы беззвучно потекли по его щекам, и он не стыдился слез, и плакал ровно, совершенно беззвучно, прямо глядя вперед. Расплывались в глазах и зал маленький, и черный музыкант, и инструмент его волшебный. И плыла, плыла музыка.

Петр Матвеевич полез за носовым платком и внезапно наткнулся на четвертинку. И вдруг его такая злоба взяла, что он, окончательно изумив соседку, с места вскочил, потоптался, нелепо махнул рукой, что-то крикнул и пулей вылетел на улицу.

А на улице была прежняя ночь, поскрипывал от ветра фонарь, ровным светом горели жилые окна, все вокруг дышало ночью, тишиной, спокойствием.

Разгоряченный Петр Матвеевич хотел было хряпнуть четвертинку об асфальт, но потом передумал, помрачнел лицом, решительно надвинул шапку на глаза и пошел домой, не выбирая дороги.

– Господи! Извалялся-то весь, как чушка! Все штанины в грязи! – ахнула жена. – Да где тебя, черта, носило-то?

Петр Матвеевич раздевался молча, но с остервенением.

– Выпил, что ли, с кем? – присматривалась жена.

Тут Петра Матвеевича прорвало.

– «Выпил»! «Выпил»! – заорал он. – Тебе бы все «выпил»! Тебе бы все пить да жрать! Кусочница! Живешь как карась подо льдом! И меня к себе в могилу тянешь? Да ты знаешь ли, как другие люди живут? Что там у тебя седни по телевизору? Штирлиц? Или кто?

– «Семья Тибо». Франция, – упавшим голосом сказала супруга. – Сейчас покушаем и будем все смотреть.

– Дура! – крикнул Петр Матвеевич, набрав воздуха и повторил: – Дура! Дура!

Жена охнула, а Витка бросил конструктор «Луноход» и всхлипывал, пятась в угол:

– Папа! Папа! Ты что? Ты зачем маму ругаешь?

– Пошел вон! – затопал на него отец.

А сын уже плакал навзрыд. И тут Петр Матвеевич вроде бы очнулся, вроде бы возвратился в себя. Он медленно огляделся. Дом как дом. Квартира как квартира. Мебель как мебель. Люди как люди.

– Действительно... что-то я это... такое... – он повертел пальцем у виска. – Ты, Катя, не сердись на меня. Накрутишься на этой работе проклятой, надергаешься... Вот сегодня опять: фонды же нам выделили на листовой алюминий, а я на базу приезжаю – нету, говорят. Пока вырвал... Дергают весь день, и сам дергаешься. А тут еще иду, и около музшколы – знаешь чуму какую придумали? Цирк номер два – электронный баян, ты это можешь себе представить?!

– Ну, ты меня напугал, напугал, артист, – облегченно засмеялась жена. – Что, думаю, пьяный он, видать, что ли. Или умом чиканулся, как Мишка, у нас в цехе подсобником который работал...

Петр Матвеевич тоже засмеялся. Они оба смеялись и колотили друг друга по мясистым спинам.

И лишь сынок Витька смотрел волчком. Слезы на щеках у него уже высохли, но губы были крепко сжаты.

* **«И по досточкам, по кирпичикам»** – творческая переделка персонажем знаменитой советской песни «Кирпичики», ставшей городским фольклором и породившей множество подражаний и пародий. Например, сцена ограбления пижона и его дамочки, которая в результате этого осталась лишь «в лифчике и в рейтузиках»:

Тут сказал ей бандит наставительно:

– Выбирайте посуше где путь!

И по камушкам, по кирпичикам

Доберетесь домой как-нибудь...

Триста шестьдесят пять белых рубах

В назначенный день и час появилась на нашей тихой улице автолавка с надписью «пром-товары». Грузовик, что ее привез, стлал уже бензинное марево где-то далеко, аж на другом квартале, и Петр Никанорович Гурьянов – бессменный продавец и директор автолавки – крутил ухо свинцовой пломбы, скрипел ключом в гнездышке замка...

Петра Никаноровича разве что приезжие не знали, а так – каждая малая собака. Со стародавних времен нэпа торчал он в заведении, скрытом за стеклянной витриной с золотом по ней пущенными буквами «ТОРГСИН». Потом он ничего не делал и, отроду имея раскосые глаза, стал чрезвычайно похож на китайца, отрастил жиденькую бородку и даже передвигался как-то косовато...

Он открыл наконец окошко. Долго передвигал штуки фланели, ситца, байки, с помощью сюны разглаживал складки на залежавшихся молескиновых костюмах, платья приспособил на крючки, сапоги и ботинки поставил носок к носку и, совершая все это, как-то по-особенному перстил пальцами.

Вдруг завопил:

НАРЯДУ,

Наряду с полным ассортиментом отечественных товаров.

НАРЯДУ,

Наряду с по-о-олным а-а-ассортиментом

отечественных товаров,

ИМЕЕТСЯ

ПОЛНЫЙ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ ИМПОРТНЫХ

БЕЛЫХ РУБАХ.

– Чиво? – спросил мой дед, который сычом сидел на завалинке, оглядывал прохожих и раздумывал, почему это он вдруг дед, а не молодой парень.

– Чего, – крикнул он, – Петрован, чего комплект?

– Бумажные рубахи, – кротко и степенно отвечал Петр Никанорович.

Он уже держал в руках деревянный метр, с помощью которого отпускал байку бабе, чей ребенок, слабый и замусоленный, кружился рядом, пел невнятные песни и одновременно правой рукой ковырял в носу.

– Рубаха есть бумажная, импортная. Ты ее каждый день утром одеваешь, а к вечеру снял и – хошь в печку, хошь в сортир, а хошь – куда хошь. И всего-то их столько, сколько дён в году с учетом високосного: то ись – трыста шестьдесят пять штук.

Так поучал Гурьянов – бессменный продавец и заведующий автолавкой «ПРОМТОВАРЫ», и дедка мой обомлел, очумел, глаза выпучил, побежал домой, денег за иконкой достал да и скупил все эти рубахи.

А я вот сижу сейчас и зачем-то все это вспоминаю. Тот день вижу, дедовскую харю, рыжим не бритую, почерневший забор, автолавку, и башенный кран на соседней улице, где уже снесли старые халупы и вели большое строительство, и листья желтые-прежелтые, тополиные, что устлали улицу нашу, что шуршали в шаг, что и ночью шуршали в шаг, когда человек маленький становится под этими звездами осенними, холодными, чистыми. Я тогда еще совсем маленький был, а дед взял да и купил себе триста шестьдесят пять белых рубах. И все смотрел на стопку эту белую, а верхнюю рубаху все пальцами трогал, желтыми. Табачными.

И после этого совсем рехнулся дед, совсем ни с кем не говорил, радовался, на рубахи смотрел и стал помаленьку помирать. А я недавно домой приехал, на кладбище был, где синие ромашки, полынь и битый кирпич, где могила деда есть под серым деревянным крестом.

А дома сверток искал и нашел, но только тронул пальцем его – рассыпались в бумажный прах все триста шестьдесят пять.

Вот ведь странно, жутко: книги старые по тысяче лет живут и ничего им не делается, а рубахи раз-раз – и начисто.

Чудеса.

* Публикуется впервые

ТОРГСИН – специальный магазин (ТОРГовля С Иностранцами). Такие магазины существовали в СССР с 1931 по 1935 г. В них не только иностранцы, но и простые граждане, имеющие золото и валюту, могли купить дефицитные товары. См. соответствующие сцены романа «Мастер и Маргарита» М.Булгакова.

...молескиновых костюмах... – от английского *moleskin*, дешевые изделия из плотной прочной хлопчатобумажной ткани, обычно темного цвета.

...отпускал байку... – мягкую ворсистую хлопчатобумажную ткань, тоже, как и многое другое, пребывавшую в дефиците.

Жених и невеста

Брат лежал на тюфяке у самого окна и пытался спать. Оконное стекло преломляло солнечный луч, и он ложился на пол желтым квадратом, граница которого медленно двигалась к бритой физиономии брата. Было утро, и оно обещало такой день, такой жаркий день, какого еще никогда не видел город К., да и вся Сибирь не видела. В такую рань на нашей сонной улице еще не поднялась пыль, не загудели моторы грузовиков, а скрипели пока ставни, зевали девки, собираясь на работу, последним криком горланили петухи.

Брат работал в другом городе, на оптическом заводе, и почему-то привез много лимонной кислоты. Мы сыпали искрящийся порошок в кружки с ледяным квасом, до устали пили квас и обливались потом, так как лето стояло жаркое, сухое, безветренное.

Мне тогда тринадцать стукнуло, а брат был здоровый парень и для меня все одно что мужик.

Он приехал в белой рубашечке с отложным воротником, в чесучовых брюках, сандалиях на босу ногу, и я, оробев, по-перву звал его на «вы», а потом он дал мне разок папироской затянуться и сразу стал мне от радости «ты».

Он привез еще и подарков много: матери шелковый отрез на платье, сестре белые туфли-лодочки и зимнюю вязаную шапку, «менингитки» их у нас называли.

А мне ничего не привез. Так мне и не надо было, зато он со мной целые дни гулял, а к вечеру, дойдя до одного дома на нашей улице, давал мне рубль и выпроваживал.

Но я за ним как-то подсмотрел и увидел, как стучал он в окошко, и на его стук вышла Люба в белом платье, и они пошли, взявшись за руки и не смотря друг на друга, и долго-долго ходили, так что мне надоело за ними подсматривать, и я пошел домой спать, а ночью светлой услышал, как брат щеколдой скрипит, о притолоку стукнулся, тихонько чертыхается, пробираясь на свой тюфяк.

И было утро жаркого дня, и брат пытался уснуть, а желтый квадрат все подбирался к его бритой физиономии.

И тут я задумал его облить и пошел набрать воды из огромной бочки, стоявшей под водосточным желобом, крашенным красным суриком. Но когда руку я опустил в бочку, то понял, что вода такая не подойдет, потому что была она теплая и вялая.

И я заставил угодливо склониться длинную жердь колодца – журавля, и та, поднявшись в небо, дала мне полведра воды такой чистой и холодной, что когда я отпил глоток, у меня сладко заныли зубы и струйка, попавшая за пазуху, щекотнула до визга.

Я набрал ковшик этой воды и встал над братом, а желтый квадрат все приближался и приближался к его бритой физиономии. На дне ковшика были видны все щербинки-ржавчинки, я выплеснул воду, и хоть летела она сотую долю секунды, успели поиграть в ней все цвета солнечного луча.

Рысью вскочил неспавший брат и в одних трусах, громадными прыжками кинулся за мной.

Я бежал, сам не зная куда, я, раскинув руки, бежал, бешено колотилось мое сердце, путала ноги трава и слепило солнце.

– Ага, попался, гадость! – завопил брат. Он взял меня за ноги и понес. Совсем близко я видел быстро убегающие зеленые травинки и босые ноги брата, а когда с усилием поднимал голову, то видел и синее небо, и край крыши, и свирепую смешную рожу брата.

Он стал совать меня в бочку. Я не сопротивлялся, я открывал глаза и хватал руками зеленую слизь, которой обросли стенки, брат вынимал меня, приговаривая: «Попался, попался, зачем кусался?» – и я видел тогда бурые края бочки и желтый песок, а брат опять меня в слизь, в темноту. В наказание.

Вдруг он бросил меня. Я живо вылез из бочки, открыл глаза и в золотых звездочках света увидел в наших воротах Любу. Она хохотала, светлые пряди волос мешали ей смотреть, она откидывала их, и глаза у нее были коричневые, как и у всех нас.

Брат еще немного постоял остолопом и побежал надевать штаны.

А я к Любе подошел и спрашиваю:

– А чё это вы ходите, за руки беретесь, а не целуетесь?

А она мне говорит:

– Дурак.

А я ей:

– Дай закурить, дай закурить. Жених и невеста поехали по тесту, жених и невеста...

*** ...почему-то привез много лимонной кислоты.** – Эка невидаль! Спер на своем заводе да и привез.

Телевизор

Когда Антонов приходил с получки пьяный, его всегда попрекали телевизором.

– Ты посмотри, нет, ты посмотри, блядский муженек, не вороти морду, – у Григорьевых есть, Лукины «Рекорд» купили, Валька, на что уж – мать-одиночка, и та имеет, одни мы, как собаки.

На что Антонов важно и смешливо отвечал:

– Ну и купим, чего там, купим, будет время свободное и купим, ох ты, золотая моя золоташка, подойду да присяду я с краюшка.

Дети смотрели волчатами, увертывались, не давали себя гладить, теревить за кудри.

От обиды Антонов стелил на пол шубу, курил, ворчал нудно, незаметно начинал посвистывать носом и лишь потом храпел – мощно, раскатисто, с переливами.

Увидя, что отец уснул, дети крались, опасаясь скрипа половиц, таскали из его кителя деньги и делились на холодной кухне.

Утром Антонов, не проспавшийся, виноватый, считал деньги, огорчился и тормошил детей: «Ребята, вы не брали у меня вчера?» Но разве сознаются они. Антонов боязливо гремел тарелками, чистил ботинки и уходил на службу.

Месяц назад он умер.

Тесная и сухая квартирка его вся была в бумажных цветах, венках. Приторный сосновый дух – грустный спутник похорон – витал в комнатах и длинном коммунальном коридоре, где молча курили небритые красноглазые мужчины.

Входная дверь хлопала, и в плотных клубах появлялись люди, которые, увидя мрачное оживление коридора, впервые понимали, что правда все это. И какая-то старушка, крестя сухой рот, шептала: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне и не будет».

Евдокия Александровна, жена Антонова, сидела перед гробом на венском гнутом стуле. Она была в блестящем от старости платье из дорогой синей материи с громадной брошкой-заколкой на груди.

Сторожко входил в комнату новый человек – она смотрела на него, припухшие веки шурила и говорила что-нибудь вроде:

– Ну, вот видишь, Валя, не дождался Сережа нас.

– Удрал нам Сережа, ох как удрал, – не отводила Валя глаз от покойника. Обнимала Антонову и помогала ей плакать в сотый раз за день.

Первую неделю ходила Евдокия Александровна на могилку ежедневно: то принесет еловый веночек, то – цветок восковой, а иной раз просто постоит, погладит холодную фотографию на памятнике. Потом все реже и реже, потому что трудно было грузной, опухшей от слез женщине трястись полчаса в набитом автобусе, где и место редко кто уступит.

Ей дали месячный отпуск, и зря: теперь она часто плакала одна над такой же карточкой, что и на кладбище, только оправленной в березовую аккуратную рамочку.

Утром сын, облачась в черный хлопчатобумажный свитер, молча и недовольно уходил в школу. Евдокия Александровна цепляла на нос очки с круглыми стеклами, в которых ее глаза походили на две луковицы, долго перебирала старые письма, счета, почетные грамоты, удостоверения, фотографии – всю ту бумажную рухлядь, что накопили они с Антоновым за двадцать четыре года жизни.

Знакомые подсказали, что за покойного можно получить единовременное денежное пособие – довольно крупную сумму.

Она живо взялась за дело – написала заявление «в связи с утратой кормильца...», которое сын отнес на службу Антонова. Ходил он туда и еще несколько раз, ждал в коридорах и

беседовал с начальником отдела – лысым конфузливый человеком. Тот-то и помог все быстро устроить.

Долго думали, что бы купить на нежданные деньги. Сначала хотели «в память об отце» обзавестись новой мебелью, взамен расшатанных стульев и фанерного, крашенного под дуб гардероба. Но в магазине не было путного гарнитура, да и денег поубавилось: были розданы вечные долги и куплена всякая мелочь. Хотели купить аккордеон для детей, но те не любили и не умели играть. И как-то сам, из неприятных воспоминаний о ссорах, обидах, попреках выплыл предмет – «телевизор».

Утром Евдокия Александровна дала сыну денег, и он сбежал с третьего урока в магазин, где на полках пели, играли, разговаривали товары. Он взял первый попавшийся телевизор, предварительно осмотрев его с видом знатока.

Неожиданно приятно было назвать кассиру большую сумму и веерком развернуть хрустящие красные бумажки.

Сын расплатился с таксистом и, прижав тяжелый груз к животу, неловко засеменил по двору.

* Публикуется впервые

– **Удрал нам Сережа, ох как удрал.** – Пример богатой сибирской лексики, искажающей для собственных нужд канонический литературный русский. УДРАЛ НАМ – в смысле создал проблемы, неприятности. И одновременно – ушел от нас.

Когда настало пробуждение

Я проспал в этой комнате детский сад, школу-десятилетку и пять курсов Института народного хозяйства по мясомолочному отделению и остальные года, что составляют разницу между моими тридцатью и временем «встать на ноги».

Я теперь немного лысею, а толстенький был всегда. В школе меня звали «мясокомбинат», «жиртрест» и «комбижир» – вариациями одного и того же смыслового корня, означающего сытость, довольство и простоту. И я убежден, что мясомолочное отделение Института народного хозяйства не было случайной страницей моей биографии. Я быстро терял своих товарищей. Они бурлили и лопались, как газировка. Они уезжали на периферию и вешались: на шею жен, на изобретения и, наконец, с помощью обычной бельевой веревки. Они становились знаменитостями и чудаками. Они умирали и воскресали, чтобы затем опять исчезнуть.

В моем сердце, для меня, потому что я любил своих товарищей, но себя – больше, и каждое известие или событие было волнами от камня, брошенного в старый, заросший тиной, покрытый ряской пруд.

И в этот день я шел к вечеру домой, чтобы спать. А в авоське хозяйственно звенели три бутылки кефира, теснились кулечки с ветчиной, колбасой, сыром, матово блестели румяные сайки.

Дома меня ждала мать. Мне хорошо было думать о том, что я обязательно и *хорошо* пообедаю: съем две тарелки жирных щей с говядиной и на второе – тефтели, а в перерывах и потом буду, отдуваясь, тянуть кефир, стакан за стаканом, и поднимать вилкой ломтики снежно-красной ветчины.

Я шел по серой и сырой снежной дорожке, опустив голову, и видел окурки, пуговицы, отложения собак и клочок письма, которое начиналось словами «здравствуй, Вася...».

«Вася – это я? – подумал я. – А, ладно, какое там мне может быть письмо».

И действительно, потом оказалось, что это письмо не имеет ко мне никакого отношения, а на плавный ход моей жизни повлияли совершенно иные события.

Мать встретила меня сурово, скрестив руки. Что-то нарушило ее внутреннее спокойствие: она молчала, но тарелка, поварешка и кастрюля тревожно дрожали в ее властной руке. И она даже не спросила, где это я там надолго задержался. А задержался у одного товарища, собственной секретарь-машинистки. Я все время смотрел на часы, именно потому, что боялся – мамаша всыплет за опоздание.

Уж совсем посинело за окном. Я прилег, читал книжку, но с каждой страницей все невнимательней, а потом тихо уснул.

Первый раз я проснулся от того, что напротив, на стройке, включили прожектор и желтые его лучи тревожили меня. Я задернул штору, пожаловался матери на жару в квартире, открыл форточку и опять уснул.

Второе пробуждение было похоже на прикосновение шершавой натруженной ладони. Кто-то гладил меня по пузу, по спине, по лицу. Я вздрогнул и открыл глаза. Никого...

На улице началась пурга. Вихрь закинул в раскрытую форточку горсть снега, а штора сделалась желтой, как сливочное масло.

Мне стало страшно.

– Чего бояться, – успокаивал я себя, – это все плотная пища, жара в квартире, повышенное кровяное давление.

И я перестал бояться, но уснуть уже не мог. В голову лезли обрывки стихов, жаркие споры и страшные картины.

Я вспомнил, как записался однажды в баскетбольную секцию и в одних трусах бегал за коричневым мячиком, и ушел из этой секции, потому что девочки сказали, будто я толстый. Я

представил, как отвратительно трясусь жирными грудями, пробираясь к корзине. И такая меня злоба взяла *сейчас*, что я ушел, а не плюнул, не закинул мяч в сетку точным-точным броском...

– Я бы стал крепким юношей с тонкой талией и железными бицепсами, а потом усталым мужчиной с квадратной челюстью, – шептал я.

И вспомнил, как бессчетное число раз уходил спать домой с вечеров, концертов, как засыпал над книгой. Вспомнил и чуть не взвыл от злобы.

И сам себе удивлялся: почему проснулись мысли во мне, воспоминания, почему столько лет не просыпался я, живое сало, а тут проснулся с мыслями, которые наверняка перекроют мою жизнь, повернут вспять, взорвут, разломают. Сколько в мире есть волшебного, чего я не знал никогда, не понимал, какие цвета, философии, звезды гасли и рождались, чего я не понимал, погибая днем на идиотской работе, а вечером и ночью в этой идиотской комнате.

Какие в России кони есть еще, черногривые, ноздри раздуваются.

А черногривого коня
Поил симпатия моя.

Так я промаялся до самого утра, до хриплого вопля будильника, и все не мог понять, что за черт, что со мной творится.

Но проведя день на службе, к вечеру успокоился и забыл.

А следующей ночью опять проснулся.

Шершавая рука опять коснулась меня, и я опять думал, страдал, рвался и впервые в жизни закурил.

«О, распахнуть бы эти тяжелые створки, – думал я, – и выйти в снег и помолодеть».

Просыпался я и еще несколько ночей подряд. Наконец мне стало невмоготу. Бодрый, тугой пружиной рванулся я с постели, включил свет и завопил.

О, горе! О, боже ты мой, единственный, милосердный. Постель моя была полна клопов.

Вишневые и отвратительные, они переползали по-пластунски и прятались в мелких складках гигантской подушки.

– Ох, гады! – кричал я.

– Чего орешь? – спросила мать.

– Клопы, – ответил я.

– У нас не было клопов, – бормотнула мать, – это ты их принес.

И опять уснула. А я сражался с клопами – и какая это была битва!

Я ловил клопов на газетную бумажку и, поймав, давил. Клопы лопались с коротким треском, оставляя алое пятно моей крови. Двое с испугу полезли на ковер, но я и там их достал. Я убил клопов, разрушил их дома и личинки. Я насчитал их семнадцать штук. Утром я достал клопомор, дуст и т. д. И неделю продолжал священный бой, и сплю я сейчас спокойно. Порядок. Не будем волноваться.

* Публикуется впервые

...с ветчиной, колбасой, сыром, матово блестели румяные сайки. – Еда в самом начале 60-х, во время царствования Никиты Хрущева, еще была даже в провинциальных магазинах (см. «Затоваренную бочкотару» В.Аксенова). Это потом, при Брежневле, на полках стало шаром покати.

Постель моя была полна клопов. – Удивительно, сплевывая через плечо, но, кажется, после развала СССР в нашей стране почему-то исчезли клопы. Тараканы и мухи остались, а на клопов что-то больше никто не жалуется.

«Песня первой любви»

...А я был тогда страшно молод, поступил в Литературный институт, работал грузчиком на железной дороге, снимал комнату в предместье, писал свою «Песню первой любви».

Однажды, когда я, покушав на ночь холодного супу, сел работать, у них за тонкой стенкой вроде бы опять началось.

Но я, пытаясь не отвлекаться, упорно строчил: *«Со Степаном это было впервые. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного»*. Скрипнула кровать. *«Степан сначала удивлялся, откуда пришло это – неизведанное, знакомое? Может, он заболел или слишком устает на тяжелой физической работе, этот молодой смущающийся паренек из Сибири?»* «Постой, постой, – залепетала женщина. – Да погоди ж ты, милый...» *«И вот в один погожий летний день, когда, казалось, вся природа была погружена в сонную дрему...»* Железные ножки кровати... Цок, цок... *«Лето выдалось в тот год дождливое, с долгими обложными утренними грибными туманами, когда призрачно в лесу и не шелхнет ветка...»* – Это просто свинство, – специально громко сказал я. *«И вот, когда, осторожно раздвигая руками волглые листья папоротника, они вышли на полянку, косой луч солнца...»*

Утробный вопль, по всем признакам, предвещал конец, но я, как всегда, ошибся. Дрались они, душили ль друг друга – не знаю, но умоляющий свистящий шепот, вопль, удар тел о тонкую стенку сменились этим леденящим душу пением, гимном ли – не знаю, как и определить эту ошеломляющую мерзость с разрывными нотами, рыданием, плачем, слезами.

ОНА. Ах, кончай, скорей, кончай, кончай, кончай!..

ОН (*басом, тяжело дыша*). Кончать-то кончай, а может, снова начинай?

ОН и ОНА. Кончим, кончим, кончим днем, Вечером снова начнем, Кончим вечером, ночью начнем, Кончим утром, кончим днем, кончим вечером и кончим ночью...

ОН (*басом, тяжело дыша*). Во-о-очию!

И непосредственно за этим – женский крысиный визг. Во мне тоже все перевернулось. Я швырнул авторучку и стал колотить в стену. В ответ сначала пустота и молчание были мне ответом, а потом в стену тоже заколотили и, по-видимому, в четыре руки, потому что у меня сорвалась с полочки меднолитая статуэтка А.М.Горького и больно упала мне на затылок. Я тогда взвыл и, не сознавая себя, выскочил на улицу, в снег.

А снег в наступающих сумерках был дьявольски красив, фиолетов, свеж. Я стал нервно нажимать кнопку звонка в их тамбуре, желая сказать, что нельзя все же столь громко себя вести, что всему есть предел и определенные границы. Однако звонок, наверное, не работал, и я стал пинать дверь ногой.

И тут дверь резко распахнулась, на меня выкатился толстый бородатый человек с поднятой рукой, которой он меня сразу же, не сказав ни единого слова, до крови ударил по лицу. Но я не зря работал на железной дороге, таская мешки. Я его тоже ударил подволом снизу, но с ног не сбил, хоть он и покачнулся. Мы сцепились, ломая штакетник. Была ночь, выпукло всходил острый месяц, и был почти неразличим острый зубец соснового леса, расположенного в непосредственной близости от нашего поселка. Нечеловеческим усилием я извернулся, схватил его левой рукой за глотку, а правой нанес еще один мощный удар, но все прилиvalo и прилиvalo. И я хотел ударить еще раз, но тут на крыльце появилась эта гнусная баба, босая, в разъезжающемся пальто на голое тело. Она летела по снегу босая, с визгом вцепилась мне в волосы, горячая потная кожа коснулась моего лица...

Тут же со мной все и кончилось. Судороги били меня. Я на четвереньках отполз в сторону. Бородатый выплевывал в снег черную кровь. «Хулиган! Мы на вас в суд подадим!» – кричала баба.

Я тогда поплелся домой, собрал свои немудрящие пожитки и наутро съехал с этой квартиры, несмотря на то, что мной было уплачено хозяйке за всю зиму. «Песню первой любви» я заканчивал уже в другом месте, и она вскоре была напечатана сначала в журнале, а потом и отдельным изданием, с чего, собственно, и началась моя писательская биография. Этим людям я, разумеется, никогда больше не встречал, и зачем я вам рассказал эту гнусную историю, – а даже и не знаю, не знаю, молодой человек. Не знаю – возможно, для того, чтобы вас предостеречь, потому что вы симпатичны мне своей искренностью, верой в «настоящее искусство»... От чего предостеречь? Тоже не знаю. Не знаю, не знаю, решайте сами, молодой человек. Все вы, нынешние, – экстремисты и думаете, будто мы, старое поколение, были совсем уж слепы. Нет, вы видите, что это не так. Но мы сделали свой выбор, а как будете жить вы – ну что ж, это ваше дело, ваше право...

* За этот рассказ, опубликованный в 1979 году в альманахе «МЕТРОПОЛЬ», я был обвинен в том, что пишу «только о пьянстве и половых извращениях». Судите сами, так ли это.

Сани и лошади

Тогда нашу улицу еще не замостили, вернее – замостили, но не сразу. Сначала не замостили, а потом выложили звонким булыжником, а потом накатились асфальтовые катки, закатали асфальтовые чаны. Замазали все, закатали, пригладили улицу и даже стали зимой убирать снег. Вот какие изменения вышли на нашей тихой улочке.

А тогда было лето. Тогда была летом желтая и серая пыль, которую поднимали колеса телег, курицы и пацаны ноги.

Пыль, где прятались маленькие невидные стеклышки, которые вспарывали пятку, и получались шарики, капли пыли. А кровь густела от желтой и серой пыли, и шла сначала грязная кровь, и она потом густела, и вообще ничего уже не было, и заживало все намертво.

Снег выпадал, и его мяли полозья по прямой, но еще не было скрипа. А лошадка заносила ножки немного вбок, потому что быстро: и горяч пар пасти лошадиной, и спиралька в воздухе исчезает. Изредка полуторка проедет или «ЗИС», а так все больше – сани и лошади.

Сани были разные. Самые любимые мои – трест очистки города – ездили с квадратными деревянными коробками. Внутри труха, грязный снег – ненужное за город. Цепляешься сзади – и спереди не видно, и удобно. И катишь каретным лакеем.

А вот сани «Хлеб» и сани «Почта» – отвратительные. Гладкие, все в железных замках, холодные.

А вот розвальни, они такие – середка на половинку: ехать-то можно, а коли заметят, так и жиганут кнутом за милую душу.

Сани, лошадей вижу, а вот физиономии возчиков, кучеров стерлись все. Начисто. Некая обобщенная фигура. Полушубок. Опояска. Катанки. Шапка. Ватные рукавицы.

И лишь харя одного молодца мне все помнится и помнится. Как живая передо мной мельтешит. И ухмыляется, препаскудная.

Сани были кошевые, от начальника. Из-за угла шли ровно и медленно, хотя конь горячил, дергал башкой, грыз железо. А хозяин вожжу на руку намотал, и «хр-р-р» – конь желтые зубы показывает. «Хр-р-р».

И смотрит кучер на меня и знает, что я уже приспособился, ноги напружинил. И знает, что ни в жизнь не коснусь я его саней, потому что понял, что и он тоже все про меня понял.

И тогда – а вид его был таков: москвичка – цигейковый воротник шалью, валяные сапоги – в сено по голяшки запиханы, спелая прядка выбивается из-под папахи, а рыло дышит силой, молодостью и красотой – и тогда:

– Мальчик, – кричит, – а ты цепляйся, я прокачу, чё ты, пацан!..

А я молчу.

– Да ты не бойсь, дурачок, цепляйся, мы прокатимся шас.

Ну, я и цепляюсь, значит, дурачок.

А он коня тогда кнутом.

И – эх несемся мы! Я на запятках, он папаху заломил. Поет «Ты лети с дороги, птица».

И от скорости кажется, что сани не по ровной дороге мчат, а по некой волшебной волнистой поверхности. И заносит, и выносит их, а голову опустишь – мельк в глазах, мельк снежно-серый. И ничего не видно.

– Ты лети, – говорит, – с дороги, птица...

– Зверь, – говорит, – с дороги уходи...

А потом обернулся да как харкнет мне – прямо в морду ли, в лицо? Не знаю даже, как и назвать это после того, как в него плюнут.

Ну, я утерся, и мы дальше едем. Но только я уже со смущенной душой, тоскуя и томясь. Прыгать надо, а страшно. А возчик-то, змей, и не смотрит на меня. И ни «га-га-га» и ни «хи-хи-хи».

А потом обернулся да и еще раз в меня «харк» – и вот это-то и погубило его, неразумного.

Потому что после второго раза я приобрел сноровку и смелость я приобрел.

Ссыпался с саней. Ледышку подобрал, кинул и вдарил точно по мужику. Со страшной силой. И вижу, что точно по башке я ему и заехал.

И тормозит раненый мужик, а я в подворотню. Встречную старушку в сугроб, сам за забор – скок. Пальтишко только мелькнуло. Дрова. Сарай. Затаился в углу.

И слышал тягостные скрипучие шаги, и скрежет зубов, и кашель, и мат, но был умен, тих, неподвижен, а потому и не найден.

А отсидевшись, вышел на ту же нашу улицу и вижу – снег, снег, снежинки новые уже падают, а на старом снегу, комковатом, желтеющем, – красные пятна. И их новые снежинки засыпают, засыпают. Скоро все скроют.

*** Катанки** – валенки (*сиб.*).

– Ты лети, – говорит, – с дороги, птица... Зверь, – говорит, – с дороги уходи... – из популярной советской песни про тачанку-ростовчанку и конницу Буденного.

Стиляга жуков

*Стиляга Жуков был ребенок,
но джинсы он уже носил.
И всех понавишихся красоток
он с ходу в ресторан тащил.*
Из поэзии Н.Н.Фетисова

В один из осенних вечеров 1959-го у нас в школе состоялся вечер отдыха учащихся. И уже с утра в школе чувствовалась приподнятая атмосфера: по-особому звонко звенел звонок, по-хорошему звонко отвечали мы на вопросы преподавателей, и даже вахтерша Феня была в то утро на диво трезвая.

И неудивительно! Ведь праздник есть праздник. Все были по-настоящему взволнованы. Директор школы Зинаида Вонифантьевна сказала взволнованную, но теплую речь, а потом начался концерт художественной самодеятельности.

Пелись песни Матусовского и Богословского, разыгрывались сценки и скетчи Дыховичного и Слободского, читались стихи Маяковского, а я исполнил на домре-приме танец из оперы Глинки «Иван Сусанин». Мне аккомпанировал школьный оркестр духовых и эстрадных инструментов: баян, труба, пианино, контрабас. «Наш джаз» – как шепотом называли мы его в кулуарах (в туалете).

– А теперь – танцы! – торжественно провозгласила Зинаида Вонифантьевна.

И началось – кружение вальса, перестуки гопака и плавные переходы кадрили. Танцевали все: сама Зинаида Вонифантьевна с учителем физики по прозвищу Завман, завуч Анастасия Григорьевна, вся в пышнейших кружевах, юные, только что с институтской скамьи учительницы в длинненьких юбках и даже комсорг Костя Мочалкин, «Мочалка», в курточке-москвичке, из нагрудного кармашка которой выглядывала стальная головка «вечного пера». Сыпались кружочки конфетти, вершился бег в холщовых мешках и срезание с завязанными глазами различных конфеток, развешенных на ниточках. Взявшись за руки, шутливо кружились мы в веселом хороводе вокруг наших любимых наставников.

И вдруг все стихло.

Все стихло, потому что в зал вошел стильяга Жуков.

Стиляга Жуков был в длинном пиджаке, с прилизанным коком надо лбом, усеянным прыщами. Стиляга Жуков держал за локти двух размалеванных девиц с прическами, выкрашенными желтым.

Троица пробралась бочком и уселась рядком на стулья под стеной. Жуков выпустил локти подруг и подпернул свои узкие и короткие брюки, из-под которых ослепительно и фальшиво мелькнули красные носки.

Все стихло.

– А скажите, Жуков, кто это вас пустил сюда в таком виде? – громко спросила Зинаида Вонифантьевна.

– Тетя Феня пустила, потому что я – ученик, – тихо ответил Жуков, глядя в пол.

– А эти кто, две... особы? – грозно поинтересовался Завман.

– Они – Инна и Нонна. Это – Инна, а это – Нонна, – так же робко объяснял Жуков. – С профтехучилища.

– «Нонна»! – только и крякнул Завман.

– А что, Саша, – криво улыбнувшись, обратилась к Жукову его юная классная руководительница, – твоим папе и маме нравится, что ты ходишь в таком обезьяньем виде?

Тут Жуков смолчал.

– Отвечайте, Жуков! Ведь вас, по-моему, спрашивают?!

Но Жуков опять смолчал.

– Это что же получается, друг? Шкодлив как кошка, а труслив как заяц? – недобро сказал Завман. И вынул расческу и зачесал на темя все свои оставшиеся волосы.

А Жуков и опять в ответ ничего. Зато, к удивлению всех, заговорили его лихие подруги.

– Ты чё тащишь на пацана! – хрипло выкрикнула в лицо директрисе или Инна, или Нонна, не разобрать было, потому что обе они были совершенно одинаковые.

Зинаида Вонифантьевна остолбенела.

– «Папа с мамой»! Папа с мамой щас валяются по тюфякам после получки, им нас не нянчить. Ха-ха-ха! – развеселилась вторая девка.

– Господи боже ты мой! – простонала директриса, с тревогой оглядываясь на столпившихся учеников. – Что творится в этих неблагополучных семьях!

– Господи, господа – все люди прбспали, – проворчала первая девка. И обратилась: – Жук, а Жук, пошли отсюда, а то развели тут муру!

– Пошли, – согласился Жуков и на глазах у всех поцеловал девку, с готовностью подставившую ему красные губы.

И они ушли. А веселье после некоторой заминки не только продолжилось, но и восторжествовало. Стали играть в «почту» и «море волнуется». Я помню, выиграл картонную дуду.

Но не все играли. За кулисами, у пыльного задника с изображением колхозника, несущего сноп, и сталеваара в войлочной шляпе, и конника на коне, и пулеметчика у пулемета, плакала комсорг 9 «а» класса Валя Конь. Одета в аккуратненькое форменное платьице с беленьким воротничком и фартучком, и с пепельными кудряшками, и с чисто вымытым личиком, и с золочеными часиками на запястье, она плакала на руках у Зинаиды Вонифантьевны, приговаривая ей:

– Ах, Зинаида Вонифантьевна! Ах! Ведь все-таки в нем тоже есть много хорошего, чистого и светлого. Он лобзиком выпиливает. У него есть щенок Дружок. Не надо с ним так.

– Пойми, девочка, – с мудрой улыбкой говорила Зинаида Вонифантьевна, – мы обычно идем на это как на крайнюю меру. Уж лучше сразу отсечь больной орган, чем позволять ему гнить дальше. Это – полезнее и для тела, и для органа, – с мудрой улыбкой говорила Зинаида Вонифантьевна.

А неподалеку мыкался Завман.

* **«Наш джаз»** – как шепотом называли мы его в кулуарах (в туалете). – К джазу отношение было тогда крайне подозрительное, как к продукту разложения буржуазной культуры. М. Горький именовал его «музыкой толстых», а Никита Хрущев – «шумовой музыкой жаст».

...«вечного пера»... – Так именовали первые появившиеся в СССР авторучки, которыми, кстати, сначала не разрешали писать в школе, куда ученики приходили со своими стеклянными чернильницами-«непроливайками».

Котелок походный прохудился

У деда Прони был медный котелок, в котором он варил пшеничную кашу и гороховый суп. Деда Проня очень любил котелок. Он его чистил песком речным, пока в городе не стал кругом асфальт. А потом – пастой «Скаидра» по цене 60 копеек пластмассовая баночка.

И вот надо же – котелок походный прохудился.

Деда Проня налил воды и включил электроплиту, а электроплита зашипела от котелка. И шипела, и шипела, и шипела.

А у деда Прони имелся также телефон. Деда Проня набрал номер под названием «Бюро добрых услуг».

– Алё!

А ему в ответ:

– Бюро добрых услуг.

– У меня... эта... котелок. Надо лудить, – объяснил деда Проня.

«Добрые услуги» сильно задумались:

– Как вы сказали?

– Лудить. Надо лудить. Оне... он прохудился. На донышке дырочка маленькая. Надо лудить.

– То есть вы хотите, дедушка, чтобы мы дырочку как бы заштопали? – добро рассмеялись «добрые услуги».

– Ну.

– Мы этого не делаем. Мы болоньевые плащи штопаем, кожгалантерею. Впрочем, ладно. Оставьте телефон. Я позвоню.

Довольный деда Проня, потирая старые руки, сходил к холодильнику и отрезал кусок рыбного пирога, купленного в домовой кухне. Пирог он запил кисло-сладким квасом, приобретенным на том же углу из цистерны.

Покушав, сел у телефона и стал дремать, дожидаясь сигналов.

...Старый дом снесли, выделив однокомнатную квартиру. Старуха давно померла. Дети разъехались по белу свету.

Аккуратненький старичок, содержащий себя в полном порядке. Рубашка, штанишки – из прачечной. Оттуда же – свежие простыни. Деда Проня сам нашивал свою именную метку. ЗС625.

– Ты бы женился, Проня, – говорили ему друзья. – Одному не светит.

– Я не один. Со мной весь советский народ, и прачечная под боком, – обычно отвечал Проня. И глаза его не туманились.

– Помрешь, и никто не определит, – сулили друзья.

– После смерти моя смерть меня не интересует. Давайте-ка лучше споем.

И они запевали – три друга: Проня, Ваня и Николай.

Течет реченька да по песочичку-у,
Золотишко моет...

...Дзы-ынь. Разбудил телефонный звонок.

– Насчет котелка вы звонили? В общем – нигде. Придется вас огорчить. Подобного вида услуг не оказывается.

– И что мне делать?

– А я откуда знаю? Ха-ха-ха! Кастрюлю купите, эмалированную.

– Ты со мной, барышня, шутки не шути, – обиделся деда Проня.

– Вы простите, я так... Старик, – пояснила барышня кому-то шепотом. – Впрочем, попытайтесь на углу Засухина и Кривцова, там есть один, Сеня его зовут.

– Вас понял. Благодарю. Вас понял.

– Я вас давно понял, – бормотал деда Проня, выходя на улицу.

Чистый старик в черном длинном драповом. Укутанный в тепленький шарфик. Черная кепка. ЗС625.

В мастерской он сразу сообразил, который из них Сеня. Тот сидел в свободной позе, но вид имел деловой. Плотненький молодой человечек с кудрявыми бачками. Нейлоновая сорочка и яркий широкий галстук.

– Сень, а Сень, ты подь сюда, – сказал дедушка.

– Это вы меня? – приподнялся Сеня, беседовавший за загородкой с двумя вальяжными дамочками. Одна шутя била Сеню замшевой перчаткой по волосатым пальцам.

– Если ты Сеня, так тебя.

– Я Сеня.

Дамочки не смотрели на просителя. Деда Проня только открыл рот, чтобы сказать дело, но тут вдруг совсем рядом дико рявкнул магнитофон, и обоеполый голос взвыл:

А
Я
Жду у моря, жду у моря —
При-хо-ди!

И различные электро– и просто инструменты завывали такими электро– и просто воплями, что у деда зарябило в глазах. Дальнейший разговор с умельцем Сеней выглядел так:

– Ну!

– Чё?

– Ну вот...

– Чё вот?

– Котелок.

– Ну и чё?

– Надо лудить.

– Не.

– Чё не?

– Не можем.

– Денег дам.

– Все дают.

– Выключите вы свиристелок! – заорал деда Проня магнитофонщикам.

Те удивились и выключили.

– Сеня, будь другом, сделай, – тоскливо заговорил дедушка. – Я в долгу не останусь.

– Да ну правда же, дед. Я без туфты. Я правда не могу. И инструмента у меня на это дело нету.

– Точно?

– Без туфты. Я же говорю.

И деда Проня покинул веселую мастерскую, где Сеня немедленно продолжил свои ладушки с замшевой перчаткой.

И довольно долго везде ходил, но не добился положительного успеха. Даже и не обещали: на Русаковской штамповали латунные пуговицы для пиджаков, на Еремина – чинили электро-бритвы, а в Николаевке вообще – гравировали таблички про покойников.

Деда Проня встал на углу. Народ шел туда и сюда. Мужик нес старый телевизор, завязанный в простыню.

– Ты куда его тянешь? – поинтересовался деда Проня. – В ателье?

– Не, – мужик показал головой. – Сдавать иду, а доплачу – и куплю новый.

– Цветной, что ли?

– Не, – мужик почему-то испугался. – Нам не цветной. Нам на цветной доходы еще незначительные, – нервно засмеялся мужик.

– Наверняка цветной купит, пес, – сказал деда Проня, провожая его взглядом. – А что хорошего в цветном? Разве только что цветной, а так – телевизор да и телевизор.

Так сказал деда Проня и отправился на мост.

А мост – ажурное создание из камня и бетона – соединял новую и старую части города.

Видны были: широкая панорама развернувшегося до небес строительства, и стадион на десять тысяч мест, и купола Покровской церкви, и телевышка «Орбита», и бесконечная отступающая тайга, отступающая, тающая, уходящая.

Под мостом текла Енисей. Он был серый. Енисей тек из Тувы в Ледовитый океан.

– Надо же – столько воды и вся пойдет на дело, – пробормотал деда Проня и, перегнувшись через перила, выпустил котелок из рук.

Котелок летел вниз. Он летел вниз и, ослепительно сияя на солнце, превращался в точку. Он превратился в точку, но вошел в воду с плеском.

Плесь! И нету котелка!

*** Нам не цветной.** – Цветной телевизор тоже считался сначала предметом роскоши.

Дома пусто

Мать моя осталась тогда одна в нашем родном городке, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны.

А я поехал на Алдан с целью заработать много денег, чтоб потом мы тихо зажили с матерью в собственном домике на окраине городка и жили там так, пока не умерла бы сначала она, а потом и я.

Существовал без шума. Если по первому времени работа была для меня тяжела, то потом я пообвыкся и тяжести ее не замечал. Я канавы рыл в геологической партии, со взрывом. Сначала бурку бурил, потом грунт взрывал, потом кайлом да лопатой углублял, расширял, чистил – забуришься, взорвешь, углубишь, расширишь, почистишь – и готово дело.

Но это только так кажется легко, как я написал на бумаге, а на самом деле, как многие говорили, зверская это работа, и многие с нее уходили, потому что – физическое изнеможение каждый день, невзирая на хорошую оплату.

...Я заканчивал школу-десятилетку, а жили мы все в том же коммунальном доме, в котором и осталась после одна моя мать, без меня.

Я-то уж знал, что из меня получится что-нибудь такое эдакое, отличное от всего того, что меня окружало, а окружало меня одиночество матери, люди маленького нашего городка, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны, отсутствие блистательной родни и книги Паустовского по вечерам, когда верхний свет убран, а в центре светового овала настольной лампы милые сердцу страницы и у мальчика ком в горле от неземной нежности.

Ходил по городу, камушки в реку бросал и знал, что все будет не здесь и все будет другое, а когда, где и как, далее и не задумывался и не знал, и никто в целом свете, в том числе и Паустовский, никто ничего не мог мне подсказать.

Ну и вот. Школа... Вечер выпускной. Бал. Я задыхался. Угостили, плясал чарльстон, который я плясать не умею и никогда, по-видимому, не научусь. Выбегал на лестницу, раздувал ноздри, выкинул даже в окно последние свои школьные стихи – листочек из тетрадошки в клеточку. «Лети, лети! Это письмо в жизнь, а я скоро прибуду сам, я скоро буду, я скоро прибуду следом за письмом своим, я буду умен и важен, я буду на коне, на белом коне, в гриву которого вплетены красные ленточки...» Противно мне это вспоминать.

И потом как-то все не так, не туда: в институт поступил, поучился, заболел, отстал, плюнул, хотя, если разобраться, зачем мне было в инженеры? Поотирался и по различным мелкоинтеллигентным должностям – лаборант, чертежник, коллектор, техник, и все при разных институтах. Надеялся я таким путем, через институты, хотя бы заочный факультет кончить, что ли?

Пока к такому выводу не пришел, к которому все, кто не вылез, не прорвался, рано или поздно приходят, к простому такому выводу, что не будет толку.

А понял я это, когда как-то за полночь центральной улицей домой пробирался. А навстречу мне поток белозубой молодежи. Лет по семнадцати. Гитары они имели и играли звонко, а к нижней губе сигаретка приклеилась, а как одному играть надоест, так он гитару по воздуху приятелю своему перебрасывает, и приятель ровно с того места мелодию продолжает, на котором первый закончил.

Серость моя и незаметность на фоне этого парада новых форм были столь очевидны, что я даже и ночь бессонную проводить не стал, а напротив – хорошенько выспался и на следующий день хорошенько выспался, и уж через недельку примерно объявил матери, как мы с ней дальше будем жить: что будут деньги и будет домик, свой, домик с двойным одиночеством, и что для этого всего мне нужно немного, но крепко поработать.

Мать моя книжек довольно много прочитала, пока окончательно не разболелась. И хотя книжки в то время, когда она не болела, продавались все больше сейчас неизвестные – без приключений, людских слабостей и всемирного негодяйства, она тоже не хотела видеть меня советским мещанином в собственном домике на окраине, тоже ей нужно было от меня чего-нибудь «эдакого», «такого», ну, в общем, чуть выше, чем папа с мамой жили, поинтересней и чтоб как-нибудь не так.

Ну а уж тогда, когда я на заработки поехал, а она осталась одна в нашем городке, она во мнениях не то чтобы переменялась, а просто, по-моему, их уже не имела, желая, чтобы все стало как-нибудь получше и потише.

Мой поезд уходил вечером, и весь день я угощался и угощал, прощаясь со своими друзьями, которых осталось у меня там не так уж много. И это хорошо, что я о своих друзьях сейчас вспомнил, потому что я люблю своих друзей. Но они – дома, а я – уезжаю, и о чем я буду говорить с ними, когда вернусь? Разверну свиток трагикомических ситуаций геологического типа: про патроны, взрывы, медведей и пресечение незаконных поступков чинами милиции – все те байки, которые рассказывает, вернувшись с Севера, молодой человек моих лет.

Угощался. Угощал. Потом с матерью прощался, крест-накрест целовался, а друзья в коридор вышли покурить – не мешать, а мама все в кровати лежала, болела, а тут встала и на тяжелых ногах вышла на крыльцо, когда я был уже около ворот, и слабо что-то кричала, а я не выдержал и вернулся от ворот назад, когда она уже просто плакала, – волос с проседью, «ну как? ну почему так?». И я еще раз ее поцеловал, крепко, в лоб, и тут почувствовали мои губы, что кожа у нее дряблая и больная – от болезней, от одинокой комнаты, от жизни, в которой есть место не для всех живых...

Вот и рассказал я вам основные положения моей жизни до того момента, когда мать моя осталась там, а я жил на Алдане, тихо жил, пообвыкся – копейку гнал, короче.

Канавы колулал со страшной силой на пару с Федей Александровым – новосибирским бичом. По вечерам дулся в «тысячу», в «кинга», читал случайную литературу, например: «У самой границы», «Тайна белого пятна», «Дон Кихот», «Юность» № 4 и № 5 за 1965 год, разговаривал с Федей насчет мировых проблем – в общем, тихо жил и ни о чем не думал.

Почти все деньги пересылал матери – крупно, оставляя себе лишь на жратву, слабую выпивку и некоторую одежду.

Так вот и жил. Покажется рубль на дне канавном, кайлом его цепляешь да лопатой, а рубль – он то покажется, то исчезнет, а ты, как пес, ковыряешься: все кайлишь да лопатишь, взрываешь да чистишь.

И вот как-то раз обрыдла мне вся хреновина эта, и решил я выбраться в поселок, в цивилизацию, где можно и пива выпить, и кино поглядеть, и в бане помыться, и на почту сходить. Набрал я от начальника денег и прибыл в поселок на казенной машине, утром.

А в поселке тихо. Там кто работает, так тот на работе. Кто пьет, так тот опохмеляется, и пошел я в столовую, где съел яичницу из настоящих яиц, поел, запил и отправился на почту, чтобы оформить очередной перевод домой.

А там сидят уже Даша и Вера – две местные «чувихи с печи», листают журнал мод «Рига-66» – и неизвестный мужик, которого всего аж трясет с похмелья, и перед ним лежит большой исписанный лист бумаги с различными закорючками, которые являют собой нечто вроде росписи фамилии И. Иванов.

И объяснил мне мужик, заметив, что я очень сочувственно на него смотрю, что он самый и есть Иванов Иван и что «анадысь» он пришел и все заработанные деньги «поклал на аккредитив», а сам был «очень выпимши» и поэтому расписался непонятной закорючкой, которую сегодня он никак повторить не может – уж больно замысловата она, а повторить обязательно нужно – иначе денег «ни грамма» ему не дадут, согласно инструкции, хотя он и есть натуральный Иванов Иван и деньгам своим полный хозяин.

Но меня уже не интересовал мужик Иванов, потому что у меня были свои дела, своя жизнь и свой расклад. Мне перевод оформлять надо было, чтоб потом дом покупать на окраине нашего городка, который разросся за счет притока заводов из Европы во время последней мировой войны.

И во время то, когда я заполнял бланк на отправление, пришла мне на ум одна хорошая идея, которую я немедленно стал выполнять. Дай-ка, я думаю, навывисываю-ка я хорошую кучу журналов и газет самого разного толку, а подписку оформлю на мамашу. На целый год, а то лучше и на два. И ей напишу, чтоб она литературу до странички сохранила. Не подшивала, конечно, – зачем? – а просто так, хранила бы, и все.

А я потом приеду, на диванчик заберусь в нашем домике на окраине, заберусь после легкого рабочего дня на той работе, которую я себе выберу, на которую я устроюсь, чтоб меня в тунейдцы не зачислили, заберусь и буду почитать да покуривать. Ловко? А? А мать в это время будет смотреть телевизор и мне расскажет все, что там происходит, а если что-нибудь будет очень уж такое интересное, так я и сам встану взглянуть, а ужин нам по заказу из домовой кухни принесут, в трех судках.

– На два года, – говорю, – хочется подписаться.

– Только на год, – говорят, – можно.

– А на два нельзя, – говорю, – сразу?

– Нельзя, – говорят.

– А почему? – говорю.

– А мы не знаем, – говорят.

– Ну и ладно тогда, – говорю, – действуйте.

И заказал, так сказать, все ихнее меню.

А потом, покинув почту, я посетил и кино, где мне очень не понравился французский фильм «Бебер-путешественник» – про одного отвратительного балованного французского ребенка, которого нужно было драть ремнем, а все с ним только и знали, что носились и нянчились. Ну ладно. К вечеру я напился, был погружен в казенную машину и доставлен к месту работы, чтоб опять взрывать, кайлить, чистить.

И вот на следующий день утром сел я перекурить и вижу, что идет Коля Старостин, бич, тот самый, что на гулянках всегда засыпает. Другие шебуются, кто покоя не знает, а он уже спит в это время – знай храпы выдает. Идет, шатаясь, Коля Старостин, бич, стонет жалобно так вот: «Ой-ой-ой».

И стали мы с ним беседы вести, и рассказал Старостин ужасную историю, как он шел домой с собственных именин, которые он справлял не у себя дома, а у буровиков, шел и заснул под крестами, что так и спал он нынче под крестами, которые поставлены в память о погибших топографах в устье ручья, на тропинке, заснул, потому что всегда Старостин на гулянках спит, а пробуждение его было ужасным – звезды небесные, кресты над головой, три штуки, кругом ни души, и филин еще ухает вдобавок...

А я на него смотрю, и в глазах у меня темнеет. Со страху, что ли, с похмелья, от предчувствия ли, черт его знает от чего.

И действительно – подает мне Старостин телеграмму, где черным по белому написано, что мать моя совсем плохая и чтоб я немедленно тут же ехал, как можно скорее.

– ...сплю, и все тут, – сообщает Коля. – Ты меня скоро не увидишь. Я скоро где-нибудь замерзну.

...а я вот сейчас расчет возьму и приеду домой, а дома пусто, а я пойду на кладбище, а сейчас – осень, а там ни скамеечки нет, ни оградки, ни кустика, нехорошо, ветер там на кладбище, вороны над церковью кружат, а у меня больше никого нет и никого не будет, а кто же будет со мной газеты и журналы читать? Все, все исчезло начисто, нету – никого, ничего нету, никого, ничего, и не будет. Никогда.

Забросил лопату.
– Я с тобой, Коля.
– На фига?
– Мать у меня при смерти.
– Помирает?
– Помирает.
– Моя тоже без меня померла. И я помру, и ты помрешь. Эх, Алдан ты мой, Алдан, хара-рошая страна! – запел и закривлялся бич.
– А может, успею? – сказал я.
– Может, и успеешь, – ответил бич.

*** ...яичницу из настоящих яиц...** – А не из яичного порошка. Куриные яйца тоже были когда-то дефицитом, о чем советским народом была сложена следующая частушка:

Птицефабрик у нас много,
Еще больше строится.
А рабочий видит яйца,
Когда в бане моется.

«Яичницей из настоящих яиц» назвал в своей рецензии мою первую книгу рассказов «Веселие Руси» (1981), которую я, проживая в СССР, был вынужден выпустить в США, легендарный Александр Бахрах, старый эмигрантский литератор, друг Ивана Бунина. Я этим не хвастаюсь, а горжусь.

«Чувихи с печи» – модные, но сугубо провинциальные девушки (*жаргон*).

Анадысь – сибирский вариант слова «намедни».

...в тунеядцы не зачислили. – По советскому Уголовному кодексу тунеядцем считался каждый, кто не работал «на производстве» более четырех месяцев подряд или в течение года в общей сложности. Например, будущий нобелевский лауреат поэт И.Бродский, отправленный «за тунеядство» из Питера в ссылку.

Шебутятся – суется, скандалят, озорничают (*сиб.*).

Ворюга

Как-то раз Галибутаев явился домой, имея во внутреннем кармане телогрейки пол-литра водки.

При нынешних ценах на водку и прочие крепкие напитки мысль о них вызывает горькую усмешку у пьющего, о чем Галибутаев и сообщил своей жене Машке.

А та отвечает:

– Ты много-то не болтай, а садись, будем жрать.

– Цыц, ворюга! – строго прикрикнул Галибутаев и поставил пол-литра на стол. А сам улыбнулся.

И стал умываться, сняв телогрейку, скинув сапоги, размотав портянки.

И босой, умытый, в майке, он сел за стол, где дымились щи, и водка глядела из стаканов живыми глазами.

– Да. Водка, – сказал Галибутаев и выпил.

Выпила и Машка.

– Вот ты говоришь «ворюга». Сколько раз тебе повторять, чтоб ты так не говорил. Я – рабочая женщина, – завела она.

– Знаю. Галибутаев все знает. А «ворюга» – это тебе, чтобы тебя одушевить. Поняла?

– Я не знаю, – сказала женщина.

– А ты знай! Я хочу видеть одушевленный предмет. Неодушевленный предмет я не хочу видеть и не вижу. А тебя я хочу видеть в одушевленном виде, поэтому и называю «ворюга». Поняла?

– Воодушевить, что ли? – сказала Машка неуверенно.

– Нет, одушевить. Понимаешь?

Машка обиделась.

– Понимаю. Я понимаю, что я тебя с такими разговорами скоро попру с квартиры. Пошел, пошел! Ишь, одушевленный нашелся...

И с расстройства выпила единым духом еще полстакана.

Галибутаев призадумался. А подумать ему было о чем. В том-то все дело состояло, что он не имел своего угла. А Машка, конечно, жена, но без загса. Так что в любой момент имела право попросить вон.

– Ну, ты шибко-то не хипишишься, – примирительно сказал Галибутаев.

– А ведь выгоню, – пообещала Машка. – Вот дети приедут, и выгоню! Ты дождешься.

В том-то и дело, что – дети. Их у Машки было четверо, но две дочери, слава богу, вышли замуж за демобилизованных солдат и куда-то с ними уехали.

Потом Мишка – сын, главная язва. Он работал с Галибутаевым на одном производстве и постоянно допекал его. То спросит какую-нибудь гадость, то толкнет, а то еще начнет заставлять Галибутаева читать вслух газету, зная, что тот газету никак читать не может из-за болезненного косоглазия и малограмотности. Гонял его. Галибутаев язву опасался, но спуску тоже не давал. Баш на баш!

А младшенький Сережка – тот был бы вроде совсем безобиден, ввиду младшего пионерского возраста, но потенциально тоже угрожал Галибутаеву, его любви и квартире, так как, подрастая, тоже начинал стыдиться маминого поведения, о котором знала вся улица.

Покушав, настроение у супругов значительно возросло, и они включили Машкин телевизор.

«Американский буржуазный профессор в данном случае обнаруживает полное незнание основ марксизма-ленинизма», – сказал диктор.

И – далее. А потом был концерт и кино «Ставка больше, чем жизнь». Про неутомимого капитана Клосса. После чего телевизор кончился и потух.

Потух и день. Кончился день. Кончился и вечер. Наступила ночь, после которой и Галибутаеву и Машке нужно было опять идти и зарабатывать деньги.

– Шалыжки колотить, – сказал Галибутаев, потягиваясь.

– Ась? – не услышала Машка, собираясь укладываться.

– Шалыжки, говорю! Оглохла?! – заорал Галибутаев и вышел на крыльцо.

На крыльце тоже была ночь. Светила полная луна. Белели в темноте сараи. Окна барака почти все потухли. Была ночь, и Галибутаев вернулся домой, в постель. А уж в постели-то он был полный король и хозяин.

– Машка, давай я тебя сегодня как бы изнасилую, – сказал он.

Машка заинтересовалась:

– Это как еще так?

– А вот так. Ты вроде бы сопротивляйся изо всех сил, но по-настоящему, а я тебя попробую шарахнуть.

– Давай! – обрадовалась Машка...

– ...И я набросился на нее, как лютый зверь, – рассказывал Галибутаев. – Сорвал с нее все. А она крутится, а она царапается, а она визжит. Другой бы насильник уже давно отступил. Но не таков Галибутаев. Сорвал с нее все и только хотел, как вдруг она меня как мотанет! И я больно упал с кровати.

– Ну и что?

– А то, что я сломал большой палец на правой ноге. Я упал на палец.

И Галибутаев длинно выругался.

– Ну, а потом?

– Вот слушай.

Утром Галибутаев хромя пришел на работу и, отозвав бригадира в сторону, изложил ему все обстоятельства. Бригадир ничего не сказал, и они пошли работать – разгружать бочки с огурцами. Бригадир встал с Галибутаевым на погрузку и осторожно-осторожно, очень бережно опустил край бочки на ногу Галибутаеву. Причем даже на левую.

– Ой-ой-ой! – закричал и заныл Галибутаев. – Ой, ноженька моя! Ой, беленькая моя! Ой-ой-ой!

После чего был составлен акт о несчастном случае. Галибутаев пошел в больницу, где ему сделали рентген большого пальца. Рентген полностью подтвердил производственную травму, и Галибутаеву дали стопроцентно оплачиваемый листок о нетрудоспособности.

И Галибутаев пришел домой, где Машка ужасно хохотала, когда он ей все это рассказал.

– Значит, тебе за это дело еще и деньги будут платить? Вот так да!..

– И целый месяц просидел я дома, – рассказывал Галибутаев, блестя глазами. – Я ничего не делал. А с Машкой мы выделявали такие номера, каких больше никто не умеет.

– А потом?

– Что потом? Потом она меня все-таки выгнала. Мишка-подлец вернулся из командировки. Сережа из пионерлагеря. Выгнала, а плакала. Я, говорит, так не могу, а так тоже не могу. У меня все-таки дети. Ворюга! Сломала мне палец! В ней весу знаешь сколько? Девяносто шесть кило. Она меня на десять лет старше.

– Ничего себе!

– Нет, даже не на десять, – Галибутаев стал считать, – мне – тридцать два, а ей сорок три. Стало быть, она меня старше на одиннадцать лет... Все мне отдала, – продолжал он рассказ о своей несчастной любви. – Все, что на мне мое, отдала и даже кожанку своего первого мужика. Он у ней техник был на аэродроме. Все – и телогрейку, и спецовку, и пальто «ГДР», и валенки, и шапку. Только вот деготь я у ней оставил.

– Какой еще деготь?

– Деготь. У меня была бутылочка дегтю, чтобы мазать сапоги. Я его у ней оставил. Надо будет Мишку попросить, чтобы принес. Или самому сходить.

– А ты где сейчас живешь?

– А я сейчас не живу, а ночую. Я у нас ночую, в гараже. Но мне обещали дать комнату. На территории прямо... А то зима скоро. Я вообще-то зимы не боюсь, потому что она мне все отдала, и валенки, и шапку. А номера мы с ней выделявали – больше таких никто не умеет. Знаешь...

И Галибутаев радостно засмеялся. Отсмеявшись, он продолжал:

– Одно скажу. Я с детства был болезненно близорукий. За это меня звали косым, и я кончил всего два класса. Потому что не мог учиться. О! Меня тонко нужно было учить! Специальное освещение, определенный час и мое настроение. А где все это взять, если я воспитывался в детдоме?

– Плохо было в детдоме?

– Почему плохо? Он мне и сейчас как родной. Они меня даже к главному главному Филатову возили, но только тот сказал, что меня привезли слишком поздно, и хотел срывать у директорши с жакета медаль.

– Какую еще медаль?

– А я откуда знаю? У ней на жакете была медаль, и Филатов хотел ее срывать. Вы, говорит, испортили мальчика! А они тут при чем? Они обо мне заботились. Только они не знали, что меня нужно сразу везти к Филатову. Вот почему я и вижу только одушевленный предмет. Неодушевленный предмет я не вижу. А неодушевленный предмет – это все, что написано, и все, что есть вокруг.

– А одушевленный предмет – это была моя «ворюга»! – сказал Галибутаев и более не пожелал со мной разговаривать, считая, что дальнейшие мои вопросы задаются исключительно для того, чтобы над ним посмеяться.

*** ...ценах на водку и прочие крепкие напитки...** – Эти цены долгое время были стабильными, но к концу 60-х поползли вверх, что нашло отражение в фольклоре:

Было три, а стало восемь,
Все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу
Нам и десять по плечу.
Ну, а если будет больше,
Мы устроим так, как в Польше.

Надо прямо признать – устроили еще почище, чем тогда в Польше, во времена профсоюза «Солидарность» и усатого лидера Леха Валенсы.

Баш на баш! – Сибирское просторечие тюркского происхождения. Точный перевод – «Голова на голову».

Капитан Клосс – польский телевариант нашего Штирлица.

Шалыжки колотить – деньги зарабатывать (*сиб.*).

Пальто «ГДР» – made in Германская Демократическая Республика, страна, тоже накрывшаяся медным тазом, как СССР и весь «социалистический лагерь».

...главному главному Филатову... – Вряд ли к самому легендарному окулисту, имеется в виду, что к ПРЕСТИЖНОМУ врачу.

Горы

Один тихий человек ходил вечерами харчиться на угол Засухина и Семенюка в шашлычную, которая, право, не заслуживала такого высокого названия, а должна была прямо и честно именоваться «шалман». Ибо вечно там крутились бичи, мелкие торговцы с базара, стилиги, спившиеся рабочие и другие гнусные личности, которых никак не возможно будет нам взять с собой в то грядущее светлое будущее, которое уже не за горами.

Да и сам ассортимент, качество пищи в этом мерзком заведении оставляли желать много лучшего. Естественно, что никаких шашлыков здесь и в помине не было, а подавались одни лишь тусклые щи из квашеной капусты да какой-нибудь очередной «хек», преступно жаренный в неизвестном механическом жиру. Отчего дух невыносимого зловония окутывал не только собственно пищевой узел, но и всю примыкающую окрестность, состоящую из шлакозасыпных домиков пригорода большого города. Странно, что районная санэпидслужба до сих пор не зачеркнула этот гнусный рассадник крепкими досками крест-накрест! Удивительно! И свидетельствует о наличии определенных упущений и в этой службе.

А наш тихий человек по фамилии Омикин был отнюдь не какой там искатель развлечений, не спекулянт, не алкоголик, а просто тихий российский человек, оставленный женою за робость и ленившийся в восьмом часу вечера искать какое-нибудь специфичней подходящее для культурной пищи место. Да тем более (не станем скрывать!), тем более что и доходы пока не позволяли ему, заняв приличный столик в шикарном ресторанчике, потреблять что-либо сильней калорийное и умеренно вкусное. Доходы... Возможно, еще и по этой материальной причине бросила Омикина красавица жена.

Случилось все так. Они ехали с женой из центра в переполненном автобусе на передней площадке, где вдруг начал тихо бесчинствовать средних лет юноша-хулиган. Он, небритый и патлатый, сначала как бы и дремал, притиснутый к дверке, а потом очнулся и, обнаружив красавицу Омикину, громко сказал:

– Ах, девушка. Поэзия, звезды, знаете ли вы, что это такое?

Подобное высказывание неприятно поразило тихого Омикина, и он сдержанно обратился к жене, напоминая ей, что завтра настает 19-е число, то есть тот именно день, когда надлежит забрать из прачечной их семейное белье: простыни, трусы, наволочки. Хулиган захохотал нарочитым смехом, а жена Омикина, преисполнившись непонятного гнева, стала как бы отделяться от мужа и отделилась окончательно на остановке, где, когда они вышли, она заявила ему так:

– Я не хочу жить с мужчиной, который не может меня защитить как женщину от первого распоясавшегося хулигана.

Омикин-муж робко заявил, что хулиган не совсем распоясался и, может быть, это даже был вовсе не хулиган, а какой-нибудь молодой непризнанный поэт или изобретатель, на что жена презрительно и длинно расхохоталась.

– Трус! Тряпка! – бросила женщина, отхохотавшись. И вскоре от Омикина совсем ушла. Бесповоротно, как следовало бы понять Омикину. Потому что новый ее муж, бывший вдовец – подтянутый, общительный, бравый, служил в каких-то военных частях, имел дачу и трехкомнатную квартиру, постоянно уезжал в длинные командировки. Да и кто ж это от такого замечательного мужа возвратится к старому, пускай и некогда любимому, к бывшему, который – рохля, живет в деревянном обветшалом домике, что все сносят, сносят и снести никак не могут, богатств не имеет и иметь их никогда не будет, потому как – не суждено, энергия не та! Кто ж возвратится к такому мужу! Ясно, что полная лишь идиотка, а ею Омикина-жена отнюдь никогда не была. Она и за Омикина-то вышла в свое время с прикидом. Поразила ее на фоне всеобщего безудержного хулиганства и лихости странная его мягкость. Он на все еще случа-

ющиеся в нашей не совсем совершенной жизни обиды и недоразумения отвечал безоружной улыбкой и мягкостью жестов. А уж когда его особенно припекали, лишь тогда он бормотал:

– Вы знаете, это нехорошо так делать, так нельзя делать, совестно так делать.

И к Омикиной-жене, а тогда невесте с девичьей фамилией Миляева, он не лез грубо и требовательно, а по-старомодному долго за ней ухаживал, водил в планетарий показывать различные планеты и лишь когда-то уже страшно потóм сказал ей, глядя в порог общежития:

– Вы знаете, Люся, мне кажется, что я вас люблю. Не согласитесь ли вы стать моей женой?

Так и сказал: *«Я вас люблю... Не согласитесь ли вы стать моей женой?»* Чудак! Люся сначала хотела рассмеяться и решительно ему что-либо остроумное сказать, но потом глянула на его взволнованное, как бы затуманенное лицо, и что-то смеяться ей расхотелось. Она вдруг подумала, что есть, конечно, у нее и другие, ярче блестящие кавалеры, есть, да все какие-то они... шибко умные... Этот по крайней мере хоть водку литрами жрать не будет, брюки не станет трепать по чужим подъездам. Да и самой обрыдло по общежитиям толкаться. Тем более что и распределение в вечернем техникуме легкой промышленности на носу...

– Я не настаиваю, конечно, на спешном ответе, – несколько скрипуче продолжал он, услышав ее молчание. – Но ведь мы уже немного знаем друг друга, Люсенька. Так что вы, по-моему, уже в состоянии понять серьезность моих намерений.

Ну она и согласилась вскоре. Тайно очень надеялась на свой решительный характер. «Это хорошо, что он такой, – даже радостно думала она. – Я им буду руководить, он вежливый, я им буду руководить, и мы им покажем!»

Но ничего они никаким «им» не показали, да и как киселем руководить? Утекает сквозь пальцы. Омикин по-прежнему ровно служил в экономической лаборатории с окладом 110 рублей, старый дом по-прежнему не сносили, и Люся Миляева-Омикина, дипломированный специалист, стала сильно скучать на досуге. Когда Омикин сидит в мягких тапочках у телевизора и читает какую-нибудь скучную толстую книгу, а она, перебив посуду от ужина в воде, кипяченной на электроплите, лениво пялится в тот же телевизор, изредка окликаемая Омикиным:

– Ну что, мышончок, спатиньки хочешь?

– Хочу, – зачем-то грубо отвечала она.

– Ой, а что ж ты мне не скажешь, – пугался Омикин. – Ну ты тогда стели, стели, а я на кухню пойду, еще почитаю маленько.

Вот. И, помаявшись определенное время, наслушавшись «спатиньки» и «мышонка», Люся вышеописанным образом взбунтовалась и Омикина окончательно бросила.

Что же Омикин? Его это событие жутко потрясло. Он даже беспомощно и по-детски заплакал, когда она ему о своем решении сообщила и заставила поверить.

– Но ведь это нехорошо так делать, Люсенька, разве я тебя чем обидел? – всхлипывал он.

– Ах, отстань, я сама все знаю, – досадовала она, укладывая в громадный серый чемодан искусственной кожи все эти свои различные флаконы, баночки, тюбики, кофты, рубашки.

– Разве я был тебе плохим мужем? – недоумевал он.

– Ах, да оставь ты! Зачем сто раз мусолить, когда все уже решено, – сдвинув модные, узко выбритые брови, торопилась она.

– Наверное, это я виноват. Наверное, я и на самом деле мало уделял тебе внимания, – повторял он.

Ну как с таким говорить? Сказать, что никто, что все ее подруги так не живут? Купил ты ей хоть раз арабские духи, или колечко золотое, или – в Сочи, в Ялту возил? Денег нет? Так не обязательно воровать, зарабатывать, если воровать не умеешь, вместо того чтобы книжки бесцельные читать или просто торчать в кресле с глупейшим, следует заметить, выражением лица.

– О чем ты сейчас думаешь? – как-то спросила она.

– А? – очнулся он.

– Я спрашиваю, о чем это ты мечтаешь с блаженненькой такой физиономией?

– Я? Да. Ты угадала. Я мечтаю, – улыбаясь, сказал он. – Ты знаешь, я думаю о нас с тобой и о том новом светлом времени, которое уже не за горами. И ты знаешь, пускай это вроде бы шаблон, расхожая фраза «не за горами», но мне, знаешь, мне конкретно чудятся эти горы, эти каким-то волшебным чистым мелким лесом покрытые, изумрудные горы, за которыми – тихое светлое будущее, где нет шума, ругани, толкотни, где нет зависти и нет грязи. Где дома крыты красной черепицей, а дорожки посыпаны желтым песком. Где веранды светятся теплым светом и где мы с тобой будем ходить, взявшись за руки, – вечно юные, вечно счастливые, вечно нежные. Будем гладить тихие цветы, слушать красивую музыку и звон кедровых шишек, будем купаться в синем-синем озере...

– Так и что ты делаешь для этого нашего с тобой светлого будущего? – трясясь от злости, спросила она.

– Почему нашего? – удивился он. – Это – для всех. Это – объективный процесс. А я лишь честно нахожусь на своем месте, честно работаю, стараюсь и в быту быть честным.

– И много ты за свою честность получаешь? – уже не владела она собой.

– А нам разве не хватает? – улыбался он. – Сытые, одетые, обутые.

И казалось, совсем не замечал ее гнева. А может, и в самом деле не замечал.

Вот она его и бросила, а Омикин сначала сильно затосковал. Он даже выпил однажды сто грамм водки, но она ему не понравилась. Он горевал недоуменно, чтение на время забросил, и телевизор у него на время потух. Он теперь сидел вечерами молчаливый и один и все перебирал – чем мог обидеть, чем не угодить.

– Мало, мало внимания уделял, – морщась, говорил он сам себе. – За книгами не разглядывал живого человека.

Но как-то постепенно успокоился. Ревности он никогда не испытывал. Незнакомый военный был для него фигурой мифической. Он и в мыслях представить не мог, чтобы Люся вот так же раздевалась, все с себя снимала и ложилась рядом с чужим человеком. Это было бы чудовищно и нелепо. Он не знал этого. И постепенно у него как-то в мыслях сложилось, что все случившееся произошло понарошке, временно. А то как же иначе? С кем тогда будет он там, за горами, гулять по счастливым рощам, встречать восход, провожать закат? И постепенно сгладилась горечь, и постепенно жизнь снова возвратилась в нормальную колею.

По-прежнему мягкий и исполнительный сидел он на работе, раз в месяц ездил на могилку к родителям, похороненным за городом на дальнем кладбище Бадалык. И харчился в шашлычной. А вот это он, пожалуй, ошибочно делал. Тут есть его в чем упрекнуть. Надо было или бороться с неправильной шашлычной путем жалоб, либо все-таки преодолеть свою лень и посещать места более приличные, не так уж это и дорого, если не шиковать. И в конце концов, коли сам варить не умеешь, то брал бы хоть из ресторана на дом, что ли, разом на три дня. Знаете, как это удобно – достал кастрюлю из холодильника, разогрел на плитке – и вечно сыт.

А он в шашлычную ходил. Ходил, ходил и доходился вот до какого жуткого случая.

Как всегда была набита вечерняя шашлычная разудалыми алкашами. Омикин просмотрел на стенке меню, увидел все привычное, выбил чек в кассе, аккуратно счел сдачу – и вот он уже в поисках свободного места.

А место – где его найдешь, место? Там, под пальмой, напиток распивают, тут эти вон затеяли азартную игру в спичечный коробок – нигде нету свободного места для Омикина.

И вынужден был он поставить свой поднос с пищей на свободный край столика двух молодых людей хиппического облика, которые таинственно что-то друг другу сообщали, имея близ ног плоские черные портфели «дипломат», ставшие ныне первым и явным признаком тайного торговца товарами повышенного спроса.

– У вас не занято, молодые люди? – на всякий случай спросил Омикин.

Но они не заметили его вопроса. Они куда-то загадочно сговаривались еще идти, поэтому Омикин, разгрузив пищу, поднос унес на стол для использованных подносов, а по дороге прихватил заодно в буфете бутылочку минеральной воды «Боржоми». Что сделать стало довольно легко, потому что буфетчица продала к тому времени всю свою дневную норму дешевой красной «рассыпухи» и на зеркальных полках стоял лишь один французский коньяк, вокруг которого, как мотыльки, кружились обожженные ценой пьяницы.

Омикин выпил стакан вкусной воды и споро принялся за ужин, стараясь посылить не вслушиваться в приватный разговор худых представителей подросткового поколения, потому что разговор они вели отменно гнусный.

Один молодой человек был пошустрее и все больше ослабел, а второй, такой на вид слегка туповатый, наоборот – все больше и больше в беседе хмурился, его надо было уговаривать.

– А вот мы сейчас как туда зарулим, сынок! – лукаво говорил разбитной молодой человек. – Ка-ак зарулим, да ка-ак закайфуем!

– Ну да, замучаешься кайф ловить, – уныло отозвался собеседник. – Пласты не сдали сёдни...

– Да-а завтра сдадим! В натуре! Чтоб я с Дровяного за Битлов, «Клуб сержанта Пэипера», полтинник не слупил? Плохо ты меня знаешь, парень!

– Знать-то знаю, а капусты нету, так чего шевелиться? Я – джентельмен, а не кусочник-побирушка, елки!

– Да ты что? – изумился разбитной. – Ты что, Вальку-Щеку не знаешь? Да чтоб Валька мне пузырь, если при капусте, не поставила? Щека! Да ты знаешь, как Щека берет? Ну, я торчу, я торчу! – блудливо озираясь, зашептал молодой человек.

«Гадость какая, – брезгливо подумал Омикин. – Нет, что-то все-таки нужно делать с нашей молодежью. “Пласты”, “капуста” – ведь за этой внешней развинченностью и содержаньем гнилое кроется, что-то нужно делать, определенно что-то нужно делать».

– Эх, Щека! – ликуя, вскричал молодой человек. – Эх и бабенка, даром что с сорок второго года!

– А она кто? – спросил тупой молодой человек.

– Да черт ее знает кто. Муж у ней навряде есть, старый такой, навряде пахана. Вечно по командировкам шустрит.

– Подруга есть? – прямо спросил хмурый.

«Господи, гадость какая», – опять подумал Омикин и залпом выпил оставшийся боржом.

– Да, она там целую борделью развела... – все более возбуждался молодой человек. – Я их прошлый раз фотал. Хошь, покажу? Называется – одна графическая картина.

И он трясущимися руками полез в «дипломат» и вытащил оттуда черный конверт.

– Во дают! – изумился его собеседник. – Ну дают!

А одна фотография и выпала из пакета. Она упала слева от Омикина, так что он невольно углядел ее краешком глаза.

И – умер! Заснувшая, пьяная, совершенно голая валялась *она* на растерзанной постели, омерзительно вывернув ноги.

– Господи! – простонал Омикин, потянувшись к фотографии.

Но молодой человек его опередил. Неуловимо ловким движением он выхватил из-под ладони Омикина фотографию и заговорил грубо:

– А ну отвали, козел, старая плешь! Тебя тут просят? Отвали, к тебе не лезут, и ты сиди, кушай, пережевывай пищу!

– Врежь ему по кумполу, – посоветовал хмурый молодой человек.

– Люся это, Люся, моя жена! – стонал Омикин.

– Или давай я врежу, – сказал хмурый.

Но главный молодой человек остановил рукоприкладство, потому что он опять повеселел.

– Да ты чего болтаешь, отец? Ты чо? Ну на, на – посмотри, если хоцца, если уж так хоцца, – подмигнул он напарнику.

Омикин трясущимися пальцами взял фотографию. И точно – мерзкая эта, прежняя картина осталась, мерзкая эта женщина по-прежнему лежала. Но это была совсем не Люся.

– Это ж сама Щека и есть! – сияя, сказал молодой человек. – Ну, отец, видать перетрухал, что накрылся твой семейный очаг, с тебя причитается, – обратился он к Омикину.

А тот внезапно ослабел, сел на негнувшихся ногах, набрал побольше воздуха, и вдруг его неудержимо вырвало, прямо на эти мерзкие тарелки, на этот заплеванный стол, он даже испустил от напряжения резкий неприличный звук.

– Эй, ты, ты чо, ты чо? – попятились молодые люди.

А он икал, его трясло, выворачивало, кружило.

– Да выкиньте вы его кто-нибудь отсюда, вонючку! – крикнул какой-то посторонний тип.

– Да он вроде непьющий, – сказала буфетчица.

– Пьющий, непьющий, а чо вонять? – резонно заявил тип.

– Да он, может, больной, – заступалась буфетчица. – Вам плохо, товарищ?

Омикин поднял помутневшие глаза.

– Не надо меня выкидывать, я сам уйду, – забормотал он. – Не надо, я сам.

И поднялся, но вдруг дико вытянулся и закричал:

– Сам уйду, а вы оставайтесь, так и так вашу мать!

Окружающие засмеялись.

– Ну, а ты говорила, что непьющий.

– Да уж и не знаю, – засомневалась буфетчица.

Но Омикин уже ослаб, он шатался и бормотал, вытирая крупный пот грязненьким платком:

– Извините, я знаю, что это нехорошо так делать, совестно, извините...

– Идите, идите отсюда подобра-поздорову, а то милицию вызову, – ласково сказала буфетчица.

Но Омикин уже не слышал ее. Он согнулся, присел, качнулся и медленно повалился на правый бок.

И – умер. В этот раз навсегда.

*** Шибко** – сильно (*сиб.*).

...арабские духи, или колечко золотое, или – в Сочи, в Ялту возил? – Предел мечтаний провинциалочки.

«Рассыпуха» – жуткое советское разливное крепленое плодово-ягодное вино (*жаргон*). Вот и соответствующая частушка:

Говорит старик старухе:

– Ты купи мне рассыпухи,

А не купишь рассыпухи,

Я уйду к другой старухе.

Пласты – виниловые долгоиграющие грампластинки с популярной музыкой, предмет спекуляции.

Сёдни – сегодня (*сиб.*).

Полтинник – 50 руб. (*жаргон*).

ДжентЕльмен. – Именно так и произносилось, иногда писалось.

...при капусте – при деньгах (*жаргон*).

Пение медных

29 февраля, в високосный год, он шел по своей улице, где по тротуарам слежавшийся черный снег, шел и, полузакрыв глаза, слушал и слышал томительное и прекрасное пение медных духового оркестра военной музыки.

В открытой машине – весь в черном и красном, в кумаче и бархате – ехал его отец в нелепом горизонтальном положении, ничего не видя закрытыми глазами, не видя ничего, ехал и не ехал даже, а везли его на кладбище, чтобы закопать в холодную, черную землю.

А он был сын, и мать он вел под руку по мостовым булыгам, большей частью вывороченным, вел, просунув руку крендельком и крепко держась за рукав обшарпанного габардинового пальто ее.

Они шли без слез, и за ними шли многие другие, и некоторые даже плакали, а они шли без слез, потому что уже выплакали свои слезы, а человек не есть божья машина для производства слез, и они шли без слез, и время от времени сын встречался с матерью взглядом, и ему было странно, что белая улыбка тихо ложится на белые губы матери, и от этого становилось как-то не так, и он сам говорил себе, что сам придумывает выражение лица матери, потому что так не может быть.

А перед ними машина была, коврами, цветами, бархатом и кумачом изукрашенная, изукрашенная, и поэтому некрасивым, как будто даже и грязноватым чуть-чуть, выглядел гроб, в котором лежал его отец.

И он все отвлекался и думал.

Он думал – зачем столько много людей, зачем столько очень много людей собралось тут, чтобы просто пройти и закопать мертвое тело его отца в февральскую мерзлую землю?

Они идут, и они пройдут, и они закопают, и оно будет лежать там одно, пока не станет после февраля весна и лето, и тогда приползут черви, и будут сосать мертвое мясо тела его отца, и сквозь него будет течь, фильтроваться вода, и будут проползать подземные жуки и личинки, и оно будет превращаться само в почву, и скоро станет – да-да-да – почвой.

И он все отвлекался и думал.

Может, похороны – это возможность? Возможность, возможность, возможность еще раз доказать, доказать, что все там будем, все будем там и что – тайна, тайная радость – постоять живому около зияющей отверзтой могилы, и бросить горсть земли, и все-таки чувствовать, что ты-то живешь, ты-то живешь, живешь, живешь.

И лишь сладкое и томительное, нейтральное пение медных между живым и мертвым, пение медных, которое можно слушать, эти рыдания труб, полузакрыв глаза – и, когда слушаешь, больше нет ничего на свете, кроме пения медных, пения медных.

И они идут, идут, идут, и начинает сыпать твердый и сухой февральский снег, и белеет серый материнский платок, и не тает снег на лице покойного.

Уныло идут они за побелевшим уже гробом, за белеющими венками, за белеющим кумачом, за белеющим бархатом. И им не кажется даже, что они хоронят самих себя. Нет. Молча и тихо идут они, имея впереди гроб с телом его отца, а сзади толпу и медные духового оркестра военной музыки.

И метель заметет их, и они сгинут в метели, и они станут белые-белые.

Они затушевываются в сечи снега, они размываются в сечи снега, и только пение медных, томительное и прекрасное и рыдающее все еще выворачивает, выворачивает наизнанку душу, вызывая всеобщую боль.

*** ...все еще выворачивает, выворачивает наизнанку душу, вызывая всеобщую боль.** – Поэтому у меня нет возможности комментировать этот рассказ даже сейчас. Здесь все и так слишком близко. Понятно, думаю, всем.

Дебют! Дебют!

Несколько дней назад у Леночки напечатали рассказ. В местной молодежной газете, на третьей странице, под рубрикой «Творческий клуб молодых “Кедровник”».

Рассказ оказался спорным. Отдел искусства, а в особенности секретариат, очень спорили: печатать его или нет. Некоторые утверждали, что в рассказе что-то есть, а другие им возражали.

Леночка, естественно, об этих спорах и разногласиях знала, поэтому не то чтобы уж таким особым сюрпризом, а все-таки очень ее обрадовало, что рассказ вышел и номер газеты куплен. В количестве пятидесяти экземпляров куплен. Куплен и частично роздан родственникам, знакомым, друзьям. С дарственной надписью автора.

Леночки.

Ничего себе такой рассказец. Там Леночка с нежностью вспоминала школьные годы. И как педагог Л.Н.Адикитопуло привела их однажды в кафе-мороженое, где они ели мороженое. А потом она (Леночка) повзрослела, вытянулась и уже самостоятельно посещала упомянутое заведение, учась в институте и слушая в филармонии волшебника Грига, от музыки которого ей хотелось взлететь и парить над бескрайними полянами. Очень нежный такой рассказец, но имелся в нем, однако, и конфликт. Как-то героиня-Леночка влюбилась и сидела в кафе с прощельгой из института кино. Прощельга хвастал, что он везде побывал и знает жизнь со всех сторон. Где он побывал – осталось неизвестным. Леночка об этом не написала, а жизнь он, как вскоре выяснилось, знал только с плохой стороны. Он на Леночкино предложение скушать мороженку мерзко захохотал и стал пить из стакана вино, а Лену напоил шампанским.

И она опьянела до того, что закурила папиросу «Беломорканал», а негодяй тогда приблизил к ней возбужденные глаза и говорит: «Ну?!»

И Лена чуть не пала, но тут перед ними стеной выстроились простые люди: два швейцара, официантка и та, которая моет посуду, – простые люди, знакомые еще со времен Л.Н.Адикитопуло. И Лена вспомнила все: речную ивушку, пионерские костры, белый передничек и запах влажной тряпочки, которой стирают с доски мел. Вспомнила и твердо сказала: «Нет! Никогда!»

Отчего прощельга смутился, смешался, исчез и спился. А Леночка осталась жить дальше, приобретя некоторую мудрость и горечь.

Короче говоря, вот такая Леночкой была выполнена «задумка». Неплохая задумка. И если кто интересуется поподробнее, то пусть перелистает подшивку местной молодежной газеты за недавние годы. Перелистает и найдет этот рассказ на отведенном для него газетном месте.

Вот. Стало быть, у Леночки вышел рассказец, и они втроем завтракали на прохладной веранде. Лена, ее мама Светлана Степановна и старенькая бабушка Люба, которая во время Первой мировой войны участвовала в Красном Кресте и Полумесяце, а после революции знала полярика Папанина.

Завтракали. На столе стояло молочко, огурчики и редиска. Сметана. Омлет фырчал, и болгарская крупная земляника рдела.

– Леночка у нас писательница, – с гордостью сказала мама бабушке, разливая чай.

– Писательница, – согласилась бабушка. И попросила: – Ты, Света, крепкий не пей, а? От него быстро исчезает цвет лица.

– Не бойсь... Не исчезнет, – помедлив и со значением ответила Светлана Степановна. И посмотрела на себя как бы со стороны. Тело крупных форм. Белое, сдерживаемое купальным халатом производства Бельгии. Цена 35 рублей, и то по благу. Свежа, бела.

– Скажи, Лена, а ты описала действительный случай, который с тобой произошел, или это плоды твоей поэтической фантазии? – заинтересовалась она.

– Плоды, – ответила Лена.

Такая же, как мама, – свежая, белая и юная вдобавок. Русые волосы стянуты в пучок резинкой.

– Писательница – это очень трудная судьба, – учила бабушка. – Некрасов сказал: «Сейте разумное, доброе, вечное». И ты сей. Помни, Леночка, тебя ждет очень ответственная доля.

Но Леночка не слушала старую. Девушка с натугой морщила лобик. И глядела в чашку, где извивалась, свертывалась и расплывалась молочная струйка. Она расплывалась, свертывалась и извивалась. Девушка морщилась.

И мысли тоже – извивались, свертывались, расплывались. Пили кофе. Дима – милый молодой человек, подающий надежды. Учится в университете. Сын хороших родителей. Приезжал на каникулы. Будет журналист-международник, не иначе. Теннис. Провожал. Поцеловал руку. Мил. Дима – мил.

Но вот тот, тот, другой. Ничтожество! Как он посмел? Староват, потаскан. Руки влажные. Металлические зубы. Скотина. А может, не скотина? Но почему так странно? И зачем он так? Интересно, он смеялся или говорил всерьез? Ах, что бы мне еще такое задумать? Ведь напечатали, ура! Напечатали. И еще напечатают. Дебют! Дебют! Послать экземпляр Диме.

– Раз видела Серафимовича, – делилась воспоминаниями бабушка. – Помню, это было, по-моему, в Москве. Твой папа Петя, Леночка, тогда еще не родился.

– Да, папа Петя, – вздохнула Светлана Степановна. – Жалко папу! Лена, тебе жалко папу?

– Конечно, жалко, – глухо ответила Лена. – Но сколько раз можно об этом спрашивать? Да и не к месту это.

– Экая гордячка!

Мама подвинулась ближе и обняла доченьку.

– А скажи, Леноч, у тебя кто-нибудь уже есть?

Лена вздрогнула.

– Как это, «уже есть»?

– Ну, молодой человек!

– Есть. Дима. Я тебе о нем рассказывала. Мы переписываемся.

– А-а, Дима... Ну а тот, который в рассказе? Он был?

Лена взбеленилась:

– Сколько раз мне тебе говорить, что того, который в рассказе, не было никогда. Я его придумала. Я никого из института кино не знаю. Ты понимаешь? И в Москве я, как уехали, была всего два раза. И оба раза с тобой, как тебе известно. Понимаешь?

– Понимаю, – смиренно отвечала мама, но в глазах ее плясали огоньки. – Я очень все хорошо понимаю, однако все-таки советую тебе сначала закончить институт. Или хотя бы первые два курса...

– Тьфу, черт. Всё об одном.

– ...он выступал тогда перед большой аудиторией. Я сидела во втором ряду в красной косынке. И вдруг мой кавалер мне говорит: «Люба, я вот что тебе хочу сказать». Мы тогда все были на «ты»...

Но мама с дочкой так и не узнали, что хотел сказать бабушке на «ты» неизвестный кавалер. Потому что тут случилась до крайности глупая история: раздался звон, и в стекло веранды влетел красный кирпич, половинка.

Стекло треснуло, стекло рассыпалось, вывалилось и зазвенело. Дорогое цветное стекло, приятные глазу стекляшки: синенькие, красненькие, желтенькие.

Баба Люба и Светлана Степановна кинулись, как коршуники, и увидели на улице, около деревьев, некоего мужика, который стоял испуганно, нос имел длинный и кривой, а черную кепку-пятиклинку – снял и держал наотлет.

Баба Люба и Светлана Степановна стали мужика ужасно ругать.

Тот же их слушал-слушал, а потом и сам открыл рот.

– Здравствуйте, гражданочки! Извиняйте, ошибка вышла. Наделал я тут у вас делов. Извиняйте! Если трэба – заплачу, а не трэба, то по совести вставлю новое сам самолично. Поскольку руки имею золотые, как говорит моя жинка. И алмаз есть. Вставлю сам, но не сразу. Сразу нельзя, поскольку такого красивого стекла сейчас сразу не достать. Эт-то нужно время. Сам. Цветное стекло изобрел Ломоносов. Сам. Вставлю.

Золоторукий перевел дух.

– Пьян, мерзавец! – сказала баба Люба.

– Зачем пьян? – обиделся мастер. – Могу показать документы. Пятый разряд. Слесарь. Женщины ругались.

– А зовут меня Ганя Пёс, – раскланялся мужик. – То есть, конечно, не Ганя Пёс. Фамилия – Петров, зовут – Гена. Но я в пацанах не выговаривал, и когда спрашивали, то получалось Ганя Пёс. Так и пристало.

– Вы почему бросили камень? – спросила Светлана Степановна, трясаясь от негодования.

– Тама – белочка, – Ганя махнул рукой. – Тама белочка скакала на сосне, а я ее хотел по калгану. Вот и наделал делов. Промазал я. Извиняйте.

– По какому еще такому «калгану»?

– Ну, по башке, значит, – объяснил Ганя и огорчился: – В нее разве попадешь? Юркая, стерва.

– Шибенник ты. Золоторотец, – сказала бабушка, старенькая, сухонькая старушка в ситцевом платье и коричневых чулках.

– Нахал, – сказала Светлана Степановна.

«Дима будет журналист-международник, – думала Леночка. – Выйти за него замуж? Но тот-то, тот! Он потаскан, отвратителен. Он лыс ведь, лыс. Если бы это случилось хотя бы в Москве, допустим. А потом, кто он – ничтожество, бездарь. Он ведь смеялся надо мной. Он и над рассказом смеялся».

– Вся беда, что шибко юркая, змеина. Увертливая. Я б попал, и не случилось беды, а вот увлекся и вам по ошибке вмазал.

– Послушайте, что вы тут дурака из себя корчите? Разве вы не знаете, что здесь зеленая зона Академгородка и белок тут специально выпускают, восстанавливая нарушенное равновесие природы?

– Э-э. Знаю. Как не знать, – скривился мужик. – Я сорок лет в Сибири живу, и мой папаша тут жил, и дедушка. Как мне не знать. Я хоть и не академик, как некоторые, а знаю. Знать-то я знаю, а только ведь эта... сама... ну... хочется ведь эта... стукнуть!

И захохотал, повторяя:

– Хочется, ой как хочется!

– Бессовестный, бесстыжий!

– Так ведь её все равно кто-нибудь убьет. Не я, так другой. Или съест волк. Придет да и съест. Волков вы тоже, наверное, выпустили. Для равновесия.

Молчание. Тут бабушка:

– Дурак ты, дурачок. Колчужка.

– Эт-то верно, бабуса, эт-то верно, – согласился Ганя Пёс. – Глуп как пень. Колчужка, правильно заметили. Дурак. А я сегодня дома не ночевал, – неизвестно для чего добавил он.

– Твой дом – тюрьма, – не унималась бабушка.

Ганя немного обиделся:

– Ну уж, вы тоже скажете, тюрьма. Я тогда пошел.

– Стой, хулиган! – крикнула Светлана Степановна. – Стой, мерзавец, а кто платить будет?

Но мужик уже ушел. Вернее, он еще окончательно не ушел, но довольно быстро переставлял ноги.

– Стой, хулиган! Стой! Вот же свинья!

– Свинья, свинья. А теперь все нынешние – свиньи. Вот раньше – это жили люди, а сейчас одни свиньи, – высказала свой взгляд баба Люба.

– Мама, не порите ерунду, – разозлилась Светлана Степановна. – При чем здесь это? Вы думаете или нет, когда болтаете? Просто мерзавец.

– А я не болтаю, – наскочила на нее бабушка. – Раньше были люди, а теперь или хулиганы, или горят на работе. Вон мой сыночка, горел-горел да и сгорел. Хоронили с музыкой, а кто мне его теперь отдаст?

Баба Люба заплакала.

– В милицию если позвонить, так где там, сейчас уже не сыщешь, – тосковала Светлана Степановна. – Придется вставлять простое стекло.

А Леночка глядела в чисто вымытый пол и была далеко-далеко.

Выйдет замуж за Диму, и будут жить в Москве, а может, и еще дальше – чем черт не шутит.

Будет квартира, и Дом журналистов будет, и литераторов.

И будет умная трезвая красивая женщина, а потом – ослепительная старуха с белыми кудрями.

Будет все-все-все.

– Леночка, ты что там? Притихла, мышонок. Ты что там? – окликнула мама.

– Ничего, – ответила Леночка, глядя чисто и светло.

– А-а, – сказала мама. И продолжила: – И главное, нет никакого уважения. В чем дело? Был бы хоть Петя живой. Говорила ведь я ему. И зачем мы сюда приехали?

Ни-че-го. Лысый и противный. Но почему так странно? Дебют! Дебют! Бабушка плакала. Глупая история?

*** ...оказался спорным.** – Советский эвфемизм, в данном случае – необычным, непреходимым.

...полярника Папанина. – Советский герой и вельможа, бывший чекист, покоритель Арктики, доживший до 1986 года.

Раз видела Серафимовича... – Популярнейшего советского писателя, который, кстати, имел подлинную фамилию Попов, отчего и попал в этот рассказ.

Про Кота Котовича

Сидели теплой августовской ночью в душной кухне близ ванной за столом, крытым цветной клеенкой, визави.

– Кошмарно неведомы пути Господни для человека! – сказал Гаригозов. – Кошмарно! Нынешние уж настолько совсем растряслись, что и очертания свои потеряли, как при вибрации. Это ж, это ж, ты понимаешь? Это ж ведь горько! Это – страшно! Разве я, к примеру, думал, что она сможет так поступить? – жаловался образованный в местном политехническом институте Гаригозов другу своему, Канкрину, образованному в том же институте.

А Канкрин сосредоточенно молчал-молчал, а потом хлюпнул носом да и отвечает:

– Совершенно я с тобой, браток, согласен. Вот ты смотри, вот ведь даже и сейчас, в данном конкретном случае, в данном примере: на дворе месяц август, а они взяли и включили батареи. Жарко? Жарко. Душно? Душно. А зачем? А – так. Душно, ну и пусть. Зато – зимой, смотри – зимой. Ведь зимой, браток, ведь зимой будет страшно дуть и начнутся сугробы, а только хрен ты тогда от них дождешься полного теплового накала. Тут сам и смекай – то ли это простая свинская бесхозяйственность, то ли, то ли – вообще... черт его знает что, вообще!

– Правильно ставишь вопрос, – одобрил Гаригозов. – Правильно, хотя и чересчур конкретно. Ты пойми, и я думаю, что ты не станешь тут сильно спорить. Ты пойми, ведь во многом мы сами виноваты. Понял? Потому что многое исправимо буквально легко, но нужно лишь не трястись и не вибрировать, а как-то взять себя в руки, что ли, понимаешь. Хозяином себя почувствовать, понимаешь, – своей судьбы, своей семьи, своей работы, своей страны, наконец! Понимаешь?

– Ну, я тогда, однако, уж до конца разливаю, что ли? – сказал Канкрин.

– Ага, – сказал Гаригозов.

И зажурчала, забулькала в зеленые рюмки оставшаяся белая водка. И, выпив, крикнули приятели, нюхнули индивидуальные черные корочки и уставились друг на друга живыми блестящими глазами.

Но – молчали. В молчании этом, происходящем не от недостатка, а от избытка, и прошло некоторое небольшое количество двойного человеческого времени. Пока не вплелись в кухонную капаящую тишину какие-то новые звуки: осторожное цап-царапанье некоторое, шуршащие шорохи и даже определенное урчание.

– Ты? – очнулся Гаригозов. – Ты есть хочешь?

– Нет, я не хочу есть, – напряженно отвечал Канкрин, прислушиваясь и клоня голову к полу, в направлении посудного, замечательной резной работы шкафа.

– Я и говорю, – некстати залепетал Гаригозов. – Я и говорю, что о душе, о душе пора подумать трясущемуся этому индивидууму эпохи, человеку, совершенно потерявшему очертания.

– Да, – сказал Канкрин.

– И эпоха тоже совершенно потеряла очертания, – ныл Гаригозов.

А человеку свежему, на него глядя, тотчас бы стало ясно, что просто порция ему крепко в головушибанула и он внезапно запьянел, как это бывает иногда в ночной тиши при тесном общении с горячими напитками.

– Вот так, – итожил Гаригозов.

Но Канкрин его уже не слушал. Канкрин вдруг рывком подскочил, прыжком взвился и вытащил из-под резного шкафа упирающегося и оказывающего сопротивление бедного кота громадных размеров. Ужасная шерсть виноватого животного дыбилась, зрачок был огромен и горел нехорошим блеском.

– Помидор катал! – возбужденно донес Канкрин. – Ты понимаешь, катал под шкафом помидор. Ва-аська-кот! – запел он. – Ва-аська-кот! Ваську нужно драть!

– Да... э... его можно выдрать, – подтвердил Гаригозов, брезгливо хрустя пальцами. – Тут – ночь, тишь, разговор, а он тут...

И Гаригозов огорчительно махнул пухлой ручкой.

– Ах ты, Васька-Васька! Васька – кот! – все радовался неизвестно чему Канкрин. – Васька-кот! Ваську нужно драть! – все твердил он.

И, услышав такое горькое решение своей одинокой судьбы, измученный Василий тут же героически закрыл свои желтые глаза и безропотно приготовился к истязаниям. И я не берусь смело утверждать, но, очевидно, все же наказали бы его – хоть бы и слегка, но выпороли подвыпившие друзья, кабы... кабы не случилось следующее.

А случилось так, что внезапно на кухонном порожке появилась строгая фигура рослого кудрявого стройного ребенка в черных сатиновых трусах и полной пионерской форме, состоящей из белой рубашки и красного галстука. Некоторое время ребенок молчал и пристально вглядывался в багровые лица веселящихся собутыльников. Потом он кашлянул.

– Пашка? Ну – здорово! А ты что ж это, брат, не спишь? Я когда в твои годы, то я в это время всегда спал. Да еще и при галстуке! Ну смотри-ка ты, какая важная персона в ночное время! – добродушно обрадовался Канкрин.

– А это моего сыночку третьего дня в пионеры приняли, так вот он и не расстается с реликвией, – объяснил польщенный Гаригозов. И шутливо скомандовал: – А ну – будь готов, дня – конец, спать иди, стервец!

И вот тут вдруг, к ужасу Канкрина, мальчик и воскликнул звенящим от напряжения голосом:

– Прекрати кричать, папа! И я уже не говорю, что вы с дядей Канкриным можете разбудить своим поведением нашу маму, которая очень устает на работе. Но я скажу, что не вздумайте драть кота Васеньку. Я люблю кота Васеньку и буду с этим бороться. Вы – взрослые люди, вы активно строите и должны знать, что – нельзя! Нельзя терять нравственные ориентиры! Нельзя бить кота, ударять кролика, кидать камнем в птицу!

И он с достоинством вырвал кота из канкринских рук.

– Ах ты, ах ты... Ах ты вон как запел? – побледнел Гаригозов. – Вон ты как запел? Нельзя? А человека мучить можно?

И тут Гаригозов тоже вскочил и выпустил на ребенка град неприличных выражений, на которые пионер с достоинством ничего не ответил, а лишь продолжал глядеть гордо, смело и честно, держа кота близ сердца и пионерского галстука.

Вот такая тут замерла скульптурная группа! И неизвестно, чем бы дело кончилось, но внезапно заходили половицы и на кухню ворвалась заспанная толстенная веселая женщина средних лет в одной ночной сорочке. Она шурилась от яркого света и близоруко оглядывала присутствующих.

– А вы что это расшумелись среди ночи, товарищи? – певуче сказала она. – Пашка! А ну марш, шельма-пака, в постель, и чтоб духу твоего здесь не было! А ты, Егор, ты неправильно поступаешь, устраивая волнения, – обратилась она к Канкрину. – Что вы бутылочку выпили, я против этого не возражаю, но ты зря устраиваешь волнения, волнуя Андрюшу, да и сам волнуясь. Неужели ты, друг, обрадуешься, если он снова попадет в сумасшедший дом?

– Они кота хотели драть, – сообщил мальчик.

– Кота? Ну вы даете, артисты! – расхохоталась женщина. – Нет, вы на этот раз точно в шизарню вдвоем угодите. И потом – Андрей! Андрюшка! Ты ж помнишь, что ты нам с Павликом обещал? Помнишь, а? Не пи-ить!

– А ну, ты чё это тут расхипишилась? – злобно сказал Гаригозов. – В какую такую шизарню? Шизарню ты, это дело, оставь, я знаю, для чего тебе моя шизарня! А только врач

Царьков-Коломенский сказал, что пьянство надо спускать на тормозах, а не с ходу обрывать. У нас была пара, мы их и выпили. А кота мы все равно будем драть, потому что он катал помидор. Выпорю я также и Павлика, потому что нельзя так разговаривать с родным отцом. А тебе я набью морду, потому что, пока я лежал в больнице, ты путалась с официантом из «Севера». Скажешь, не так?

– Конечно, не так, – искренне не согласилась женщина. – С Сережей мы просто знакомые. Он, кстати, женатый человек. Павлик тебя любит. А кота? Да зачем же драть кота-то? – изумилась женщина. – Совершенно незачем его драть! Давайте-ка мы лучше завяжем ему на шее красивый красный бант и спляшем все вокруг него веселый танец!

Гаригозов с Канкриным и застыли, раскрыв рты.

– Ну и мамка! – пришел в восторг мальчик. – Видать, тоже со своим дядькой Сережкой тяпнули двести-триста!..

– Цыц! – строго и вместе с тем шутливо сказала Евдокия Апраксиевна, ибо она в это время уже ловко обрядила Василия в уже упомянутые одежды. Кот шипел, но потом, купленный блюдечком молока, стал это молоко ловко прихлебывать.

А они, взявшись за руки, закружились в ночное время на тихой кухне вокруг насыщающегося животного. Запевала мама:

– Мы споем, мы споем про Кота Котовича...

– Д' про Кота Котовича, про Кота Петровича, – вторили Гаригозов, Канкрин и представитель грядущего поколения.

И они тихо плясали в ночное время на тихой кухне вокруг насыщающегося животного, эти тихие люди громадной страны. Им было пусто, им было душно, им было хорошо, им было весело. Канкрин вывернул коленце. Гаригозов топнул ножкой.

– Ну скажи честно, стерва! Спала с официантом или нет?

– Тихо, – сказал мальчик. – Тихо, а то соседи снизу будут шваброй стучать.

– А вот мы их! – сказал Гаригозов.

И была ночь, и погасли на улице фонари. Гаригозов провожал, спотыкаясь, Канкрин по темному подъезду.

– Какая, брат, пустота! – хрипло шептал он. – Пустота-то какая, брат! И зачем мы только в институте учились?

Но Канкрин с ним не соглашался и приводил в ответных речах множество аргументированных примеров.

*** Пашка?** – Сейчас понимаю, что это, конечно же, был намек на пионерского героя Павлика Морозова. А может, и «неконтролируемая ассоциация», как любили называть подобное советские цензоры. Проще говоря, «фига в кармане».

Иван да Маира

Гремел огнями и музыкой пышный бал случайного общества, собравшегося как-то раз вечером в ресторане «Север».

Пили и ели. Пили и ели за деньги. Чокались, наливали и гремели – бесплатно. Бал!

Некоторые сидели за столиками уж очень это такие важные-важные. Другие сидели не менее важные и вдобавок – деловые. А третьи просто сидели, не зная, зачем они сюда пришли.

Порхали официанты. Летали, как птицы, – лысоватый Боря и быстроногие девушки, одна из которых – красавица: волос черный, глаз острый, в ушах длинные серьги, носила чудное имя Маира. О Маире речь пойдет ниже, настанет еще черед.

А публика-то, публичка! Какое разнообразие имен, речей, костюмов и причесок!

Один носит плешь, другой – тубетейку, потому что приехал из Ташкента продавать на базаре огурцы.

Один одет в костюм за 150 рублей и имеет 150 кг весу, другой – тощ как игла, а костюм все равно хороший.

Одного зовут Арнольд, а другого – Ваня. Ваню запомните. О нем речь пойдет, и тоже ниже.

Конечно же! Конечно! Конечно, и оркестр тут. С опухшими лицами исполняет что-то такое, где-то как-то немножко волнительное в своей потасканной свежести.

– Ну, мы еще немножечко нальем? Верно? – говорит сосед соседке.

– Ты закусывай, закусывай, – убежденно убеждает она.

Эх, уж и ноченька будет, накушавшись шашлыков да цыпляток!

– Вы знаете, я так люблю! Я раз тут был на кухне, так Дорофеич «табака» готовит только сам. Сам! Дорофеич лично сам готовит «табака»!

– Конечно, сам готовит, три пятьдесят порция!

– Вы представляете, там такие раскаленные диски, между ними Дорофеич готовит «табака».

Ай да Дорофеич!

– Позвольте разрешить предложить вам потанцевать?

– Ну если вы так настаиваете..

И танцуют. Да, танцуют. Я сам видел. Дамы и граждане так это лихо выделявают, что – зависть. Да-да. Просто зависть берет неумеющего, глядя на их сложные па, прыжки, проходы, приседания.

Коленкой вперед, пяточкой назад. Молодцы!

И вот, находясь в подобной обстановке, уже упомянутый Ваня наконец-то понял, что пришла пора оставить заведение, ноги не держат. Он тогда взял да заснул.

Спит себе, положив лицо на кулаки. А перед сном все-таки рассчитался. Аккуратист.

Ну, Маира к нему и подходит. За плечо. Дескать – ступай, ступай! Нарезался. Хорош. Вали, вали, уступи место товарищу!

За плечо. А Ваня тут глазоньки открыл, а потом зажмурился и белесыми ресничками – хлоп-хлоп-хлоп.

– Извиняюсь. Я тут эта... Я тут – ничего?

– Ничего-ничего, – успокаивает его деловая Маира, страдающая о монетках. – Ничего, а только всё – хватит.

А тут как назло музыканты ударили в инструменты и заиграли любимую Ванину песню «Не жалею, не зову, не плачу» на слова поэта С.Есенина.

Конечно же! Конечно! Заиграли! И в голосе певца слышалось такое рыдание, что казалось – он поет за деньги последний раз в жизни.

– Ну, музыку-то хоть можно послушать?

– Перебьешься. Не сорок первый. Иди, отдыхай!

– Я ж и так отдыхаю.

– Нет. Все. Ступай.

И собирается Маира пальчиком манить швейцара дядю Ваню, чтобы тот своего тезку вышиб за дверь, а только тезка благоразумен.

– А я чего? Я – ничего, – говорит он и лезет в карман.

Спрашивается, зачем. А вот затем, что Ваня, все попутав, решил еще раз заплатить. Не разобравшись, что к чему, и по пьяненькой своей лихости не желая ничего помнить. Что, например, он причитающиеся пятнадцать пятьдесят уже выложил и даже позволил не отдать себе полтинник сдачи.

– Сколько с меня? – задал вопрос Ваня.

Вот здесь интересно бы вам посмотреть на Маиру. Она так это глазками подведенными стрельнула вокруг, но колебалась недолго:

– Харчо ел, коньяк пил, салат «Столичный», тыр-мыр, тыр-пыр. Пятнадцать пятьдесят.

А Ваня, уже разворачивая мятые рубли, внезапно обнаружил ужасную недостачу. А именно: пятнадцать рублей наличествуют, а пятидесяти копеек нету.

Маира тогда сразу ушла. К другим столам – прибирать, носить. Сказала «пятнадцать пятьдесят» и ушла. Чего ей ждать? Смотреть, что ли, на Ванькины бумажки, пересыпанные выкрошившимся табаком?

Иван же похолодел. И поскольку в ресторанах, демобилизовавшись из армии, был новичок, то придумал ужасные вещи: как его сейчас, вполне возможно, будут бить, а потом сообщат на домостроительный комбинат, что их работник шарашится по кабакам и питается задарма.

«Господи Иисусе! Вот так влип!» – пронеслось в голове.

– Девушка, – слабым голосом позвал он. – Эй, девушка!

– Да... – Маира тут как тут.

– Не. Я. Вы не подумайте. Я – сейчас.

И Иван понес такую ужасную чепуху, что Маира была вынуждена отойти в сторону, чтоб ее подлости столь явно не бросались в глаза на фоне наивного Ивана.

А тот обратился к какому-то угрюмому человеку, который только что пришел и сел за Иванов столик, развернув газету. Не зная начала истории. Видя лишь одно ее неприятное продолжение.

– Скажите, они могут поверить, допустим, что я завтра принесу?

– Не знаю... – Угрюмый смотрел нехорошо. – Не знаю, не знаю. А вообще-то не рекомендуется ходить по подобным заведениям, не имея денег, – тихо научил он и опять взялся за газету.

От таких слов Ивану стало холодно. Он поднял голову, и уши его затопил каскад звуков, и зрение его помутилось от пестрого мельканья костюмов. Весь ресторан плясал казачка.

Оп-ля, оп-ля! Старые тетки поднимали руки, вспоминая лезгинку.

– Ка-за-чок! – хором скандировали музыканты. А некто толстенький, желая крутануться на триста шестьдесят градусов, крутанулся всего лишь на триста пятьдесят, отчего и упал, но был немедленно поднят и снова пустился в пляс.

Дела... Иван хотел бы умереть. И даже мысль мелькнула – а не мотануть ли отсюда быстрым ходом?

Которую сразу же отогнал как опасную и уголовную.

Тут выручила Маира. Она подошла и смягчилась.

– Ладно, – сказала Маира. – Ладно. Завтра принесешь.

– Полсолянки, филе, бутылку минеральной, пятьдесят коньяку, – заказал угрюмый. И тихо посоветовал: – Зря вы, девушка, поважаєте алкоголиков. Учить их надо, учить! Вы думаете, он вам завтра принесет? Ждите.

Иван хотел лезть в драку, но Маира его удержала.

– Да я! – кричал Иван. – Да я! Ах ты, дешевка! Чтоб я не отдал? Да я – рабочий человек. Я премию получил. Я могу часы оставить, если девушка не верит...

– Верю, верю, – сказала Маира. – Верю всякому зверю...

Иван рвал из кармана паспорт, а паспорт тоже весь был в табачных крошках. Газетный человек притих.

– Смотри!

– Мне это вовсе ни к чему. Еду из Норильска отдыхать, а тут разводят скандалы. Что тут у вас происходит, девушка?

И не посмотрел. Не любопытный попался норильчанин. А посмотрел бы, так на него глянул строгий и округлый Ванин лик, размером 3 на 4 см, и широкие плечи, украшенные ефрейторскими погонами.

Не посмотрел. Притих. Рассердился.

И тут опять выручила Маира.

– Ну ты. Не базарь. Я тебе верю. Все. Ступай. Отдашь. Не завтра, а через два дня. Я завтра не работаю.

Иван стал вытирать глаза, потому что он уже плакал.

– Спасибо за доверие, – хлюпал он. – Я его оправдаю. Ты не замужем?

– Ступай, ступай, жених!

– Спасибо за доверие.

И, окончательно ослабев, поддерживаемый дядей Ваней, был выдворен на улицу. С улицы он стучал в окошко и делал умоляющие, приветственные и обещающие принести денег знаки. И слезы струились по его щекам. Да, слезы! И нечего над этим смеяться. Он плакал, потому что знал – сейчас можно, сейчас – время. Маира – человек. Ваня был счастлив.

А Маира вдруг что-то загрустила и стала очень злая. То есть все про нее всегда знали, что девушка она добрая и лишнего злого слова никогда никому не скажет. А тут поругалась из-за вилки с товаркой Аней. Ни с того ни с сего нахамил норильчанину, и тот даже хотел писать жалобу, от какового экстренного поступка его долго отговаривала метрдотель Марья Михайловна. Отговаривала, а Маире потом сказала:

– Ты смотри, Маира. Чтоб это было последний раз. Не дома. У нас ресторан первого разряда.

– А чего я? – огрызалась Маира, вспоминая плачущие Ванькины глаза. – Я чего? Я ничего.

И подумала: «Брошу “Север” к свиньям. Обнаглеешь тут совсем. Подамся в стюардессы. Летчики на руках носить будут».

Все правильно...

Ванькины плачущие глаза...

А сам Ваня через два дня никуда полтинники отдавать, конечно, не пошел. И не потому, что был жулик. Он просто-напросто многое забыл, в том числе и полтинник.

Он сидел трезвый на казенной койке общежития и ругался.

– Ты представляешь? Что ни вечер, то – гуляют... И в будни, и в красные дни. И шампанское жрут, и коньяк. А ты знаешь, сколько стоит в кабаке коньяк? Ужас! А им хоть бы хрен. Интересно, откуда эти гуляющие деньги берут? Ну, допустим, кто с огурцами из Ташкента, этого я понимаю. Ему без кабака нельзя. Или я с премии... Ну, а остальные? Ведь не может же быть, чтоб они все были из Ташкента или все враз получили премию? Правильно?

– Переживаешь? – посочувствовал сожитель, низкорослый плотник Куршапов, наигрывая на гитаре. – Много прогудел, что ли?

– Не в этом дело, – сказал Иван, покривившись. – Дело в том, что, будь я, например, мильтон, я бы сразу непременно первым делом пошел по кабакам и спрашивал прямо: «Откуда у тебя, паразит, деньги? Ах, не знаешь? Еще раз спрашиваю: откуда у тебя деньги? Не знаешь?» Тут я цепляю на него кандалы – и копец!

– Меня с собой зови, а то один устанешь цеплять, – попросил Куршапов.

– Тоже верно. Устану, – согласился Иван и снял носки, собираясь ложиться спать.

– Тоже правильно, – бормотал он, засыпая.

– Правильно! – вскрикнул он во сне.

И Куршапов сыграл ему тихую колыбельную.

Все правильно...

*** ...где-то как-то немножко волнительное в своей потасканной свежести любезного сердцу примитива.** – Всё из жаргона советских так называемых творческих работников.

...уступи место товарищу! – Сейчас уже трудно представить, что при входе в ЛЮБОЙ советский ресторан практически всегда была огромная очередь. Вообще советский ресторан – это особая тема. Там не просто ужинали, а – кутили, жизнь прожигали и т. д.

Перебьешься, не сорок первый. – В смысле «не сорок первый год», т. е. не война.

Пятнадцать пятьдесят – огромная сумма для простого человека в те времена.

Верю всякому зверю... – сибирская присказка, которая заканчивается так: «Только тебе не верю».

Норильчанин – жители заполярного Норильска считались тогда ужасными богатеями.

Копец – переделанное сибиряками слово «конец», своеобразная контаминация со словом «копчик», имеющая неуловимо непристойный оттенок.

Там в океан течет Печора...

– Вот же черт, ты скажи – есть справедливость на этом свете или ее совсем нету, паскудство! – ругался проигравший битву с крепкими картежными мужиками неудачливый игрок, бывший студент Струков Гриша, тридцати двух лет от роду, обращаясь к своему институтскому товарищу Саше Овчинникову, когда они возвращались глубокой ночью от этих самых мужиков в Гришин «коммунал», где Овчинников хотел переночевать, так как явился он из Сибири, определенного места жительства в Москве пока не имел и квартировал далеко за городом, у тетки.

Цыкнув на соседей, которые, недовольные поздним визитом и грохотом отпираемых засовов, выставили в коридор свои синие морды, Гриша с Сашей оказались в струковской узкой комнате, основной достопримечательностью которой являлись специально сконструированные полати, куда вела деревянная лестница и где еще совсем недавно, подобно неведомому зверю, проживала под высоким потолком Гришина старенькая теща. Пока Гриша окончательно не расстался со своей Катенькой по причине вскрывшихся ее отвратительных измен. И пока Катенька, проявляя неслыханное благородство, не выписалась честно с Гришиных тринадцати метров и не переехала к «этому настоящему человеку», прихватив с собой и прописанную в городе Орле «мамочку».

– Нет, это мне не денег жалко, – заявил Гриша. – Хотя мне и денег жалко тоже, но в гробу я видал эти двадцать рублей, – бормотал Гриша. – Но что тот *левый хрен* мог меня *пригреть на пичках*, так этого я, по совести, ни от него, ни от себя никак не ожидал. Скажи, друг, у вас в Сибири бывает такое свинство?

– У нас, Гриша, в Сибири все бывает, – сказал Саша, зевая. – У нас вон ломали на Засухина дом и там нашли горшок с деньгами от купца Ерофеева, и через этот горшок сейчас одиннадцать человек сидят, потому что они золото не сдали, а напротив – принялись им бойко торговать, возрождая на улице Засухина капитализм. Вот так-то...

– Ух ты черт, кержачок ты мой милый, – обрадовался Гриша. – Вот за что я тебя люблю, дорогой, что вечно у тебя, как у Швейка, есть какая-нибудь история. Хорошо мне с тобой, потому что ты еще не выродился, как эти московские стервы, падлы и бледнолицая немочь.

В стенку постучали.

– Я вас, тараканов! – прикрикнул Гриша. И продолжал: – Веришь, нет, а бояться меня – ужас! Я по *местам общего пользования* в халате хожу, а им – ни-ни! Запрещаю. Нельзя, говорю! *Нельзя!* И все! *Некультурно!* Они меня за то же самое бояться, за что я тебя люблю. Я ж с детства по экспедициям. То у меня нож, то у меня пистолет, то я тогда медведя на веревке из Эвенкии привез, и полтора месяца он у меня отпаивался – соской, водкой, чаем.

– Медведя? – оживился Саша. – Я в Байките – аэропорту тоже там, когда ночевал, то там лазил медвежонок между коек, маленький такой, совсем с кошку. Цапнул одного дурака, он пальцами под одеялом шевелил. Тот ему спросонья переломал хребет. Мы все проснулись, взяли гада, раскачали хорошенько и выкинули в окно. Летел вместе с рамами...

– Хребет сломал? А медвежонок что? – заинтересовался Гриша.

– Что... Подох. Он же, ему же несколько дней всего и было. А гада потом вертолетчики посадили в самолет и говорят: «Мы тебя, козлину, административно высылаем, пошел отсюда, пока самому костыли не переломали».

– Вот же хрен какой, – опечалился Гриша. – Это ж нужно – беззащитного медведя! Стервы, есть же стервы на белом свете! Вот Катюша моя была – это уж всем стервам была стерва! «Знаешь, милый мой, если ты – мужик, так и бери себе мужичку! И потом, если б ты меня хоть немного уважал, ты бы не вел себя как скотина». А я ее не уважал?

Старуха год на полатах жила – я хоть раз возник? А то, что я пью, так я – не запойщик, я – нормальный. Пью себе да и пью. Вот так. И пошли-ка они все куда подальше...

– Стервы. Это верно, – равнодушно согласился Саша, прицеливаясь к полатам. – Не могу тебе возразить, друг, сам неоднократно горел. Сейчас вон – еле выбрался.

– Слушай, а ты помнишь эту харю? – внезапно разгорелся Гриша. – Ты помнишь, у нас на курсе ходила одна стерва, у ней еще ребенок был, она все всегда первая лезет сдавать и говорит: «Мне *маленького* кормить надо».

– Ну, – сказал Саша.

– А-а, ты ведь у нас появился на втором, так что не знаешь всех подробностей. С ней до всех этих штук ходил несчастный этот... Клоповоз... Клоповозов, что ли, была его фамилия. Или Клопин? Не помню...

– Неважно, – сказал Саша.

– Вот. И она раз подает в студсовет на него заявление, что, дескать, тити-мити, скоро будет этот самый «маленький», а что он, дескать, не хочет жениться, хотя он был у ней «первый» и всякие такие по клеенке разводы. Прямо так все и написала в заявлении...

– Ну и дура, – сказал Саша.

– Да, конечно ж, дура! – вскричал сияющий Гриша. – Потому что собрался этот студсовет, одни мужики, и спрашивают ее эдак серьезно – опишите подробно, *как это было!* Ну, умора!..

– А она что? – заинтересовался Саша.

– А она опухла и говорит: «То есть как это “как”?» – «Ну, – говорят, – расскажите как. Во сколько он к вам, например, пришел?» – «В десять вечера», – говорит. «А не поздновато?» – спрашивают. А она: «У нас в общежитие до одиннадцати пускают...»

– И вы, – говорят, – до одиннадцати успели?

– Успели, – она отвечает.

– А что так быстро? – один говорит.

– Стало быть, он правила посещения общежития не нарушил? – другой говорит.

– Нет, товарищи, вы посерьезней, пожалуйста, – стучит карандашом по графину третий. – А вы не отвлекайтесь от темы. Вы лучше расскажите, *как было все*.

– Ну и что? – улыбался Саша.

– Да то, что она не выдержала этого перекрестного допроса и свалила не солоно хлебавши. Но... – Тут Гриша значительно погрузнел. – Бог – не фраер. Клоповоз в Улан-Удэ схватил какую-то заразу и совсем сошел с орбиты. Говорят, он в прошлом году помер. Или в окошко выкинулся. Хотя, может, он и не помер, и в окошко не выкинулся, но все же он с орбиты сошел, так что верховная справедливость оказалась восстановленная.

– А ты считаешь, что была допущена несправедливость? – хитрил Саша, любясь Струковым.

– А как же иначе? – уверенно сообщил тот. – Форменное же издевательство над девчонкой, несмотря на то, что она – тоже стерва. Нашла куда идти и кому рассказывать. Бог – не фраер, вот он и восстановил баланс. Эта теперь *маленького* в музыкальную школу водит, а Клоповоз в гробу лежит.

– Ну уж это неизвестно, кому лучше, – вдруг сказал Саша.

– Нет уж, это ты брось и мозги мне не пудри, – сказал Гриша. – Философия твоя на мелком месте, как, помнишь, всегда говорил тот наш идиот-общественник, старый шиш?

– Помню, помню, – вспомнил Саша. – Я еще помню, помнишь, он к нам когда первый раз пришел в пятую аудиторию... в зеленой своей рубашке и, нежно так улыбаясь, говорит: – Ну, ребятки, задавайте мне любые вопросы. Что кому непонятно, то сейчас всем нам станет ясно... – «Любые?» – «Любые». – И через десять минут уже орал на Егорчикова наш мэтр, что он таких лично... своими руками... в определенное время... стрелял таких врагов на крутом берегу реки Аксай... Красивый был человечисе!

– Да уж, – хихикнул Гриша. – Задул ему тогда Боб. Я как сейчас вопросы эти помню, вопросы что надо, на засыпон. Этот орет, а Боб ему: «То, о чем я спрашиваю, изложено, кстати, в сегодняшней газете “Правда”»...

И вдруг страшно посерьезнел Гриша.

– Знаешь... понимаешь... – внезапно зашептал он, приблизив к Саше думающее лицо. – Мне кажется, что... что разрушаются какие-то традиционные устои. Понимаешь? Устои жизни. Как-то все... совсем все пошло вразброд. Как-то нет этого, как раньше... крепкого чего-то нет такого, свежего... Помнишь, как мы хулиганили, лекции пропускали? А как с филологами дрались? А как пели?

Там в океан течет Печора,
Там всюду ледяные горы,
Там стужа люта в декабре,
Нехорошо, нехорошо зимой в тундре!

В стену опять застучали, но Гриша даже и не шевельнулся.

– А что сейчас? – продолжил он. – Какие-то все... нечестные... Несчастные... Мелкие какие-то все. Что-то ходят, ходят, трясутся, трясутся, говорят, шепчут, шуршат! Чего-то хотят, добиваются, волнуются... Тьфу, противные какие!..

– Постарели мы, – сказал Саша. – Вот и всего делов.

– Нет! – взвизгнул Гриша. – Мы не постарели. И я верю, что есть, есть какой-то высший знак, фатум, и все! *Все!* в том числе и моя бывшая жена-стерва, будут строжайше наказаны! Я не знаю кем, я не знаю когда, я не знаю как. Я не знаю – Божественной силой или земной, но я знаю, что все, все, в том числе и ты, и я, все мы, вы, ты, он, она, они, оно, будем строжайше, но справедливо наказаны. Э-э, да ты совсем спишь, – огорчился он.

– Ага, – признался Саша. – Совсем я устал что-то, знаешь, как устал.

– Ну и давай тогда спать, – сказал добрый Гриша. – Я полезу наверх, а ты на диване спи. Тебе простыню постелить?

– Не надо, – сказал Саша.

– А я тебе все-таки постелю, – сказал Гриша. – У меня есть, недавно из прачечной.

И постелил ему простыню, и погасил свет, и полез на полати.

– Саша, ты не спишь? – спросил он через некоторое время.

– А? – очнулся Саша. – Ты что?

– Извини, старик, я сейчас, еще секунду...

Он спустился вниз и забарабанил в стену к соседям.

– Надо им ответить. Чтоб знали, как лупить. Совсем обнаглели, сволочи, – удовлетворенно сказал он.

И мурлыкал, карабкаясь по лестнице:

Там в океан течет Печора...

А Саша спал. Ему снились: ГУМ, ЦУМ, Красная площадь, Третьяковская галерея, Музей Пушкина, певица София Ротару и поэт Андрей Вознесенский. Легкий Саша бежал вверх по хрустальным ступенькам и парил, парил над Москвой, над всеми ее площадями, фонтанами, дворцами. Скоро он устроится на работу по лимиту и получит временную прописку, а через несколько лет получит постоянную прописку, и тогда – эге-гей! – все держитесь!

– Все хорошо, – бормотнул он во сне.

Ну, хорошо так хорошо. Утро вечера мудренее. А пока – спи, спи, молодой человек, набирайся сил. Жизнь, наверное, будет длинная.

*** Пригреть на пичках** – обыграть на «пиках», карточный жаргон.

Кержачок – в данном контексте – сибиряк, а вообще-то – раскольник, старообрядец.

Там в океан течет Печора... – суперпопулярная студенческая бардовская песня тех лет, Автор – Ада Якушева. Тогда – жена Ю.Визбора.

Отчего деньги не водятся

– Да? Ну и что? Ну, пьяный. А вы мне, извините, подавали? Нет? Вот так. А вам я что сделал? Раскачиваюсь и на ногу наступил? Да нет, не нарочно я... Уж вы извините, извините, я немножко заснул. Я – поезд. Я электричку жду до Кубековой. Вы извините, я просто не потому, что я – пьяный, я просто спал, а сейчас проснулся, вы меня извините, я не хотел вам сделать ничего дурного.

Обычная, милая сердцу российская картина. Мужик в мятой шляпе и мятых брюках, проснувшийся в зале ожидания пригородных поездов. Сосед его, интеллигентненький мужчина, хранящий брезгливое молчание в ответ на излияния бывшего пьяного. Бабы, мужики, девки, длинноволосые их хахали с транзисторами, лузгающие семечки и время от времени вскрикивающие в метафизическом восторге:

– Ну, ты меня заколебал!..

Да и сам зал ожидания – со знаменитыми жесткими эмпээсовскими скамьями, вековым запахом карболки и громаднейших размеров фикусом, «фигусом», который, наряду с еще больших размеров картиной из жизни вождей мирового пролетариата, должен был, видимо, по хитроумному замыслу станционного начальства, эстетически воздействовать на буйных пассажиров, смягчать страсти, утишать расхोлившиеся сердца.

– Да! А все виноват был тот самый беляшик, – сказал мятошляп, хотя чистый сосед его, уткнувшись в газету «Правда», отвернулся и всем своим видом давал понять, что лишь по значимости своей в жизни и некоторой даже доброте не выталкивает он опустившегося за те большие двери, крепко ухватив его за шиворот, а то и хряпая по тощей шее жирным кулаком.

– Беляшик, беляшик, – монотонно повторял проснувшийся. – Кабы не тот беляшик, так оно, может, все и покатилося бы по-иному, что ли?

Спрашивающий задумался.

– Хотя... черт его знает, черт его знает, – бормотал он.

– Эй! Пахан-кастрюля, чего хипишишься? Курить есть? – окликнул его высокий парень с гитарой.

– Дак а почему нет? – рассудительно сказал «пахан».

– Товарищи! – оторвался было от газеты культурный человек, но, увидев крутой лоб присевшего на корточки любителя легкой музыки и протянутую за папиросой «Север» мощную длань, татуированную воспоминаниями все о той же далекой части света, лишь только мелко выдохнул, а потом брезгливо в себя вдохнул, стараясь не улавливать ядовитый лично для его здоровья, равно как и других трудящихся, табачный дым этих дешевых мерзких папиросок.

– Ну, дак ты расскажи, ты чего там плел-то? – рассеянно обратился к старшему товарищу курящий мужественный юноша.

– Дак я вот те о чем и говорю. Меня беляшик и погубил, а они мне дали самый последний шанц.

– Да какой же такой беляшик-то и какой «шанц»? – вскричал нетерпеливый молодой человек. – Ты говори, что ли. Ты что нищему бороду тянешь? А?

– Да я ж тебе начинаю, а ты тут стрекочешь! – раздражился мужик. – Хочешь, так слушай. А не хочешь – вали кулем!

– Ну, слушаю, – сказал юноша.

И полился ровным потоком строгий рассказ мужика.

– Вот. Это началось в суровые шестидесятые годы нашего столетия. Я, тогда находясь на ответственной работе снабжения с хорошим окладом, зарвался и, получив головокружение от успехов, стал сильно пить коньяк и спирт, потому что оне тогда были маленько дешевле, чем сейчас, ну а денег у меня всегда было предостаточно.

Вот. И товарищи, и начальство обычно предупреждали меня, что дело рано или поздно может кончиться хреново при таком отношении, но я им безнаказанно не верил, потому что имел удачу в работе всегда, а это очень ослабляет.

Но время показало, что они стали правые. Ибо ввиду пьянства у меня начались различные служебные неудачи, не говоря уже о личных, поскольку моя жена вскоре после всяких историй от меня совсем ушла. А служебные ужасы запрыгали один за другим, как черти. В частности, вот на такой же скамейке Савеловского вокзала города Москвы, где я в пьяном виде коротал ночь, не имея гостиницы, у меня неизвестные козлы и вонючки украли моток государственной серебряной проволоки, за которой я был послан самолетом в город Сызрань, так как у нас вставал из-за отсутствия этой проволоки цех, а у меня ее украли. Сам знаешь, что за это бывает...

– Понимаю, – сказал парень.

– Ну, то, что я выплачивал, это – как божий день, хотя и тут нарушены были правила. Они не имели меня права за этой проволокой посылать. Эта проволока должна пересылаться спецсвязью, потому что она серебряная. Но я сильно не возникал – у них на меня и другие материалы имелись.

Ну и вот. И таким образом я, совершенно пролетев, предстаю недавно пред стальные очи Герасимчука, а тот мне и говорит: «Ну, вот тебе, Иван Андреич, последний шанц работы на нашем предприятии. А нет – так и давай тогда с тобой по-доброму расставаться, потому что нам твои художества при неплохой работе уж совершенно надоели, и мы завалены различными письмами про тебя и просьбами тебя наказать, что мы делаем весьма слабо. Так вот тебе этот твой шанц! У нас истекает срок договора с теплично-парниковым хозяйством, и если нам не продлят договор, то этот чертов немец Метцель ставит нам неустойку. И мы платим пять тысяч. А немец нам точно вставит перо, потому что он – нерусский и никакого другого хозяйства, кроме своего, понимать не хочет. К тому ж он очень сердитый: у него парники, и к нему всякая сволочь ездит кланчить лук, огурцы, помидоры и редиску, имея блатные справки от вышестоящих организаций. А поскольку справки высокие, то немец их должен скрепя сердце удовлетворять, чтоб его не выперли с работы. И он их удовлетворяет, разбазаривая свое немецкое парниковое имущество, отчего он очень стал злой, и ты точно увидишь, что пять тысяч он с нас обязательно слупит...»

«А что же мне тогда нужно сделать?» – спрашиваю я, дрожа и догадываясь.

«А тебе нужно сделать, – нахально усмехается Герасимчук, – чтобы он нам договор пролонгировал на полгода, и нам тогда пять тысяч не платить».

«Это что такое значит “пролонгировал”?» – обмирая и снова догадываясь, спрашиваю я.

«А это значит, чтоб он нам срок его исполнения продлил, дорогуша, – все так же усмехается Герасимчук. – И мы тогда не станем платить пять тысяч».

«Дак а что же он, дурак, что ли? – вырвалось у меня. – Зачем он будет продлять договор, зная, что он с нас может получить пять тысяч?»

«А вот затем мы тебя и посылаем, – нежничает этот дьявол. – Вот это тебе и есть твой шанц последней работы на нашем предприятии. Выполнишь – орел, сокол, премия, и все прошлые дела – в архив. Не выполнишь – ну уж и сам понимаешь», – сокрушенно развел он руками.

«Дак это вы что же, как в сказке, значит?» – лишь тихо спросил я.

«Да, как в сказке», – подтвердил Герасимчук. И я от него так же тихо вышел, тут же решив совершенно никуда больше не ехать.

Потому как ехать мне туда было совершенно ни к чему. Ибо немца этого я знал как облупленного, равно как и он меня. Сам я с ним и заключал вышеупомянутый договор о поставке продукции. Причем немец совершенно не хотел его подписывать, а я клялся и божился, что все будет выполнено в срок на высшем уровне аккуратизма и исполнительности.

Так что ничего хорошего от моего дружеского визита к немчуре, за исключением того, что он просто велел бы вытолкать меня в шею, мне ожидать не приходилось, отчего я и пошел к стенду около «Бюро по трудоустройству» искать новую работу.

Ну и там смотрю, что везде «требуется, требуется», а сам и думаю – черт с ним, съезжу, авось как-нибудь там это и пронесет: вдруг этот немец уже совсем сошел с ума и все мне сейчас сразу подпишет, хохоча. А мне терять нечего.

С такими мыслями я и являюсь в это образцовое блатное хозяйство. И, гордо задрав плечивую голову, следую между рядами освещенных изнутри теплых стеклянных теплиц, полных огурцов, луку и помидоров для начальства. После чего и оказываюсь в кабинетике, где с ходу, не давая ей дух перевести, спрашиваю наглую от постоянных просителей секретаршу:

«Владимир Адольфович у себя?»

«У себя», – нахально отвечает она.

«Я к нему...»

«Одну минутку!» – вопит она, но я уже делаю шаг, открываю кожаную дверь и вижу, что там сидит мелкое совещание. А во главе его ораторствует какой-то мужик, но он далеко не тот мой друг, бравый камрад Метцель, а какой-то совсем другой начальствующий мужичонка.

«Извините, – говорю. – Помешал».

И делаю шаг назад.

А там секретарша Нинка на меня бросается, что, дескать, куда это я лезу, что Метцель действительно у себя. Но он у себя дама, потому что он месяц назад вышел на пенсию и сейчас сидит дома от обиды, что его на пенсию выперли.

«А если вы насчет луку или огурцов, то у нас их нету, они будут в марте-апреле, а мы сейчас только лишь произвели посадку этих культур», – говорит мне Нинка.

«Милая Ниночка, – отвечаю я ей. – На кой же мне они сдались, ваши огурчики, свеженькая ты моя, когда я к вам совсем по другому делу, связанному сугубо с производством, а не то чтоб все жрать да разбазаривать».

«Ну, это тогда совсем другой коленкор, – успокаивается Нинка и мне говорит: – Вы подождите, у него товарищи из Норильска. Они скоро закончат, и он вас примет».

«А я и жду, я и жду», – отвечаю. А сам думаю: господи, да неужто уж и спасен?

Ну, часа всего полтора и прождал. Они все оттуда выходят как из парилки. Я к оратору:

«Товарищ! Товарищ!»

«Что? Нет! – гаркнул он. – Я! Мы идем обедать. Луку нет, огурцов нет, помидоров нет!»

«Да я...»

«Нету луку! Нету огурцов! Вы прекратите эту порочную практику, понимаешь! Что у вас? Письмо? Откуда?»

И он берет в ручки мою бумаженицу и долго в нее смотрит, ничего совершенно не понимая.

А тут Нинка-умница, чтобы свой ум доказать, хихикая ему говорит:

«Да нет, Мултык Джангазиевич, оне совершенно по другому вопросу. Насчет продления договора о поставке...»

«А-а, – смягчился новый начальник. – Что ж вы сразу мне не сказали?»

Вынимает свою шариковую ручку, а у меня аж сердце захолонуло.

«Где расписаться? И что же вы это, товарищи, нас так со сроками подводите?» – журит он меня, держа мой документ и свою авторучку вместе.

«Да мы... У нас реконструкция. Всего на полгода и продлить-то», – лепечу я.

И смотрю – о Господи! – деловой этот замечательный человек, красивый этот хлопец, стоящий ныне, как кавказская скала, на страже государственных огурцов и луку, быстро мне все подписывает, а Нинке говорит:

«Шлепнешь печать. Мы пошли обедать».

После чего и уходит прочь с нетерпеливо топчущимися, как стоялые кони, норильчанами.

И – о господи! – спасен! Крашенная Нинка, все еще хихикая, ставит мне печать, я дарю ей приготовленную шоколадку «Сказки Пушкина», и действительно, как в сказке, на крыльях радости и победы вылетаю за дверь этого нервного предприятия.

Спасен, думаю. Спасен! Прогрессивка – моя, премия – моя, а все прошлые дела в архив!

А в это время в кабинете звонок. Я притаился за дверь.

«Да, да. Нет, нет, – говорит Нинка. – Уже ушел, одну минуточку – я посмотрю».

Выбегает. Я притаился за дверь.

«Товарищ! Товарищ!» – кричит она в лестничный пролет.

Ха-ха! Нету там для тебя товарищей!

Она и возвращается, понурая, говорит в телефон:

«Нет, он уже уехал, наверное». Из телефона же – ругань с акцентом, даже за дверь слышно.

Ага, думаю. Опомнился? Ну да позновато, брат. Подпись-то на месте, и печать там же.

И на уже упомянутых крыльях лечу дальше. Солнце светит ясное, здравствуй, страна прекрасная! Небо – синее, скоро – весна, уж и теплом повеяло, и я – вон он я какой молодец! Все свои интересы соблюл, включая и интересы родного предприятия.

А только жрать мне сильно захотелось, а времени уж ровно оказалось два часа. Я туда-сюда, и везде-нигде нету для меня питания. Потому что где и совсем закрыто на обед с двух до трех, а где стоят хвосты таких же, как я, гавриков. И торчать мне там нет никакого навару, теряя время.

И тут-то вот и появляется на сцене этот проклятый беляшик, из-за которого я погиб.

А то что жрать-то мне охота? Ну я и купил у этих двух, две заразы стояли на остановке с алюминиевым бачком, из которого валил пар. И эти заразы кричали:

«С пыла, с жара, 38 копеек пара!»

«Свежие?» – спрашиваю.

«Сегодняшние... С пыла, с жара...»

«Рыбные, что ли?»

«Како рыбные? Настоящие, мясные. 38 пара», – с гордостью отвечают мне эти две лживые толстухи в нечистых белых куртках поверх ватных телогреек.

И тут я мгновенно пропадаю. Потому что, лишь купив два рекламируемых беляша и доедая уже второй, я лишь тогда понял, в чем дело. А дело было в том, что они, видать, пролежали у них там где в витрине, засохнув, а потом они их пропарили хорошенько и швырнули на улицу для таких дурачков, как я. Сразу меня, конечно, и замутило. Но я не растерялся, потому что на всякий замок есть отмычка. Я тогда – бац! – вынул из портфеля читушку (а я всегда ношу с собой читушку), насыпал ей в горлышко соли, размотал и для сокращения желудочного жжения взял да и выпил ее всю из горла. А дело это было уж в какой-то, не помню, закуской.

И вот тут, ну вот честное слово, я ведь и не знаю, за что меня осуждать? Ведь и мой папаша всегда так делал. У него два лечения было. От простуды – водка с перцем, от живота – водка с солью. И дожил бы он наверняка до многих лет, коли не убили бы его на фронте проклятые фашисты.

Так что за что меня осуждать-то? И говорить, что я был в состоянии алкогольного опьянения. А подлецы эти, что уже наверняка позвонили мне на работу, что я был в состоянии алкогольного опьянения, подлецы эти совершенно все врут, что я был в состоянии алкогольного опьянения. Потому что когда я у них был, то я еще не был в состоянии алкогольного опьянения. А когда я им потом в состоянии алкогольного опьянения звонил, то они не могут по телефонному проводу видеть – в состоянии я алкогольного опьянения или не в состоянии алкогольного опьянения. А то, что они сказали, будто у меня язык заплетается, так это они тоже

по злобе совершенно все врут. Вовсе он у меня и не заплетался, а просто им обидно стало, что я их умней и вроде как их обманул – вот они и решили со мной разделаться. Эх, и влип же я!

А влип я вот как. И ведь точно – как только я эту водку выпил, то у меня все жжение сразу прекратилось. Но, уж если всю правду до конца говорить, сильно мне захотелось в туалет.

А уж и стемнело. Туалет же этот, будучи самым настоящим сортиром, куда я тогда сразу пошел, около вокзала, мне сразу же не понравился. Потому что там было уже темно, потому что уже стемнело, а там свету нету. И мужики заходят, и слышны всякие грубые шутки, которые я не решаюсь повторить. Я тогда брезгливо тоже там сел и крепко задумался.

Я тогда задумался – что вот же она какая странная жизнь, какие странные все эти ее взлеты и падения. Ну вот кто я был утром? Кандидат на выгон. А кто я есть сейчас? Мудрый работник, блестяще выполнивший ответственное производственное задание, несмотря на все трудности.

А только, видимо, от водки, что ли, или от предчувствий, а что-то мне вдруг стало очень страшно. Вода потому что рычит там, гудит подо мной. И страшно, во-первых, и как сама вода гудит, а вдобавок мне еще и видение – а что, думаю, вдруг да какая подводная рука да как сейчас меня хватит снизу за задницу.

Быстренько я свое болезное дело справил – и наружу.

И вот тут-то меня ихватило кирпичом по башке! Да чем же ты подтерся-то, гад?! Ты ж договор пустил в эту страшную, рычащую воду!

Аж и застонал я, покрывшись мелкой испариной, и сразу бросился звонить в этот пригородный теплично-парниковый бардак. А там мне сообщают, что я, дескать, пьяный, что я обманом подсунул тов. начальнику на подпись бумагу, которую он, не будучи еще окончательно введен в курс дела, подписал. И опять, что я-де был в нетрезвом состоянии и что, значит, уже бежит-катится на меня в родное учреждение капитальная телега за двумя подписями свидетелей.

«С Норильска, что ли, эти ваши ворюги-свидетели», – лишь огрызнулся я и бросил трубку, предварительно обложив их, за неимением другого оружия бороться со свинцовыми мерзостями жизни, густым матом.

Ну а дальше? Дальше что? Дальше – что мне терять? Меня же все еще беляшная интоксикация яда грызла, поэтому я тогда – еще водки с солью. Короче говоря, упал я на улице, но привозят, слава богу, не в вытрезвитель, а в «неотложку». А там врач Царьков-Коломенский, вот честное слово, не совру, сам еле на ногах держится, толстый такой, бородатый, как кот, и урчит: «Как только тебя семья терпит! Из-за вас вот таких семьи разрушаются!»

«Ах ты, хряк! Сам косою вдугаря, а туда же!» – не стерпел я, блюя. Ну и оттуда на меня тоже телега поехала. А сейчас я и сам собственной персоной качу. Не то вслед за ними, не то – перед... Вот так-то, сынок!

Говоривший открыл глаза, закрытые от волнения в самом начале рассказа, и обнаружил, что зал ожидания почти пуст. Исчезли бабы с мешками, девки с чемоданами, мужики с бабами, и гражданин с газетой ушел, и лишь татуированный юноша сладко спал, положив свою кудлатую голову на круглый кулак.

– Эй, кент! – потрянул его рассказчик.

– Ну ты чё, ну ты чё? – забормотал во сне юноша.

– Вставай! Вставай!

Появилась строгая уборщица.

– Чего разорались, бичи! – крикнула она, гордо опираясь на высокую швабру.

– Мы... мы ничего, – оробел мужик. – Мы электричку ждем. До Кубековой.

– До Ку-бековой! – сардонически усмехнулась уборщица. – Давно ушла ваша электричка до Кубековой, освобождайте помещение, я мыть буду.

– А мы, – еще пуще оробел мужик, – мы можно, тетенька, следующую подождем?

– А следующая, племянничек, – ехидно сказала баба, – будет утром, следующая ваша электричка до Кубековой.

– Ну и ничего, а мы до утра, – предложил мужик.

– А вот этого ты не видел?

И баба показала мужику обидный шиш. Проснулся гитарист.

– А ну, что за шум! – гаркнул он. – Ты что, бабка, нас заколебала совсем? Щас как дам по кумполу!

– Я, я милиционера позову, – завизжала, отступая, эта пожилая женщина.

– Не надо, ой не надо милиционера! – вскрикнул мужик, как раненый.

– Это точно ты говоришь, батя, – снисходительно согласился юноша. – Милиционер нам вовсе ни к чему. Пошли отсюда, батя.

– А куда?

– Да куда-нибудь пошли. Куда-нибудь придем.

– Но куда ж все-таки?

– Да... пойдём, споем... отчего деньги не водятся.

– Ну, идем, – сказал мужик.

И они куда-то пошли.

* **Дак** – так (*сиб.*).

...клянчить лук, огурцы, помидоры и редиску... – Все это зимой и весной было жутким дефицитом, который ДОСТАВАЛИ ПО БЛАТУ (см. комментарии к рассказам «Лечение как волшебство», «Несчастный исцелитель», «Или-или» и вообще всю эту книгу, которой можно было бы дать подзаголовок «Сага о дефиците ВСЕГО»).

Солнце светит ясное, здравствуй, страна прекрасная! – слегка искаженные строчки из советского официального «МАРША ЮНЫХ НАХИМОВЦЕВ», где есть и такие слова:

Вперед мы идем,
И с пути не свернем,
Потому что мы Сталина имя
В сердцах своих несем.

Читушка – чекушка, четвертинка, бутылка водки объемом 250 гр.

Кент – друг, приятель (*жаргон*). Происхождение слова крайне таинственно. Разумеется, не в честь одноименных сигарет, которых в Сибири никто отродясь не видел до перестройки. И уж не от КЕНТАВРа же!

Бич – бродяга. Огромная социальная прослойка советских граждан, шатавшаяся по стране, в основном по Сибири и Дальнему Востоку в поисках лучшей доли. Сами они не без юмора расшифровывали это словосочетание как Бывший Интеллигентный Человек. Почти все из них сидели, чаще всего – по бытовым статьям.

Обстоятельства смерти Андрея Степановича

Буду рассказывать, как помер наш завхоз.

Прямо в поле при исполнении служебных обязанностей, ткнувшись головой в стол с гиревыми весами и амбарной книгой личного забора, в складе, состроенном из лиственничных деревьев бичом Парамотом. Парамот этот или Промот был известен всей экспедиции – звонкий был мужичок, что уж тут и говорить. Он зарабатывал в сезон тысячу двести – тысячу пятьсот новыми, проматывая их за неделю главным образом из-за желания угощать каждого встречного-поперечного и ездить в трех такси: в первом – кепка, во втором – телогрейка, а в третьем сам Парамот своей собственной персоной – голубоглазый и русский и, так сказать, со следами всех пороков на лице.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.